

Дмитрий Романов



Точка возврата. Чужая шкура

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Дмитрий Романов

Точка возврата. Чужая шкура

«Автор»

2026

Романов Д.

Точка возврата. Чужая шкура / Д. Романов — «Автор», 2026

Солдат, погибший под Бахмутом в 2023-м, приходит в себя в 1993 году — в теле самарского бандита, с памятью о будущем и миссией не допустить войну, которая его убила. Но познание тает с каждым шагом, враги кладут на чашу весов его голову, а в новогоднюю ночь герою звонит тот, кто его застрелил в 2023 году. Криминальная сага и альтернативная история о цене второго шанса.

© Романов Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

АРТЕМ. ТОЧКА ВОЗВРАТА	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НЕ СДОХНУТЬ ДО ОБЕДА	8
ГЛАВА 2. СТРЕЛКА	12
ГЛАВА 3. АРХИВ ЛЁХИ	16
ГЛАВА 4. ГРАФ	19
ГЛАВА 5. РИТА	22
ГЛАВА 6. ВАУЧЕР	24
ГЛАВА 7. ПЕРВАЯ СДЕЛКА	27
ГЛАВА 8. ПАША	31
ГЛАВА 9. РЕФЕРЕНДУМ	34
ГЛАВА 10. ЧЕК НА ЗАВОД	36
ГЛАВА 11. КРЫША НАОБОРОТ	39
ГЛАВА 12. ХОЗЯИН ГОРОДА	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Дмитрий Романов

Точка возврата. Чужая шкура

АРТЕМ. ТОЧКА ВОЗВРАТА

Книга первая. ЧУЖАЯ ШКУРА

ПРОЛОГ. ДВЕСТИ МЕТРОВ ДО ПОСАДКИ

Февраль в Бахмуте пах гарью и мокрым кирпичом.

Артём знал уже, что у каждого города на войне свой запах. Попасная пахла палёной резиной. Соледар — почему-то яблоками, гнилыми яблоками из брошенных погребов, и этот запах был хуже всех. А Бахмут пах гарью и мокрым кирпичом, и ещё — соляровкой, которой пропи- тывалось всё: бушлат, хлеб, сны.

Снов, впрочем, почти не осталось. Спали по два-три часа, в подвале с низким потолком, где с труб капало на спальные и кто-то из старых, кажется, Жила, говорил: это не вода, это дом плачет. Жилы уже неделю не было. Его убила вражеская птица, когда он тащил на плече раненого Тоху. В итоге Тоха уехал в Ростов в салоне пикапа, сделанного из старой «Нивы», а Жила, точнее его тело, ехало в кузове этого же пикапа.

— Сова. Подъём!

Голос у Седого был тихий. Седой вообще никогда не орал — может, поэтому его слуша- лись. Ему было тридцать восемь, и он казался Артёму глубоким стариком: человек, который успел пожить какую-то другую, неправдоподобную жизнь, где была ипотека, рыбалка и дочка- второклассница.

Артём сел. Тело поднялось само, отдельно от него — за пять месяцев он научился этому фокусу: тело делает, голова догоняет. Голове было двадцать один год. Телу, по ощущениям, — все шестьдесят.

— Посадка через четыреста метров, за «промкой», — сказал Седой, разворачивая на ящике обрывок карты, замусоленный до состояния тряпки. — Лесопосадка, потом частный сектор. Птичка говорит, что там опорник. Работаем после артелов, заходим тройками. Ты со мной и с Бесом.

— Понял.

— Чего понял?

— Четыреста метров. Посадка. Тройками.

Седой посмотрел на него — длинно, секунды три, непозволительная на войне роскошь.

— Мамке писал?

— Вчера.

Врал. Позавчера. Вчера не было связи, а позавчера он написал ей три слова: «Всё нор- мально, целую». Мама в ответ прислала голосовое на четыре минуты, он прослушал его восемь раз. Про то, что соседка тётя Валя засолила капусту и передаёт банку, как будто банку можно передать сюда, в подвал плачущего дома. Про то, что отец починил наконец машину. Что на районе открыли новый торговый центр, с новым «Макдональдсом». Про то, что ждут.

Самое страшное на войне — не обстрел, понял Артём ещё осенью. Самое страшное — голосовые из дома.

Он был студентом. Это слово теперь звучало как из другого языка — «студент», вто- рой курс, автодорожный, Подмоскowie, общага, девушка Кристина, которая перестала писать

в ноябре, и он даже не обиделся, потому что не помнил уже толком её лица. Помнил, как она смеялась над его кроссовками. Кроссовки тоже остались в другой жизни.

Сюда он попал просто — так просто, что иногда от этой простоты хотелось выть. Напористый Антон Михайлович, военкомат, контракт, эшелон, полигон, где старый прапор учил их окапываться так, как окапывались, наверное, под Сталинградом, потом — ленточка. Никакого выбора в этой цепочке не было, или он был, но Артём его не увидел: все ехали — и он поехал. Дед воевал. Военком сказал: надо защищать Родину.

Теперь, спустя пять месяцев, он не думал про Родину. Он думал про четыреста метров до посадки.

— Двинули, — сказал Седой.

Снаружи было серо. В Бахмуте всегда было серо, даже когда светило солнце, — пыль от разбитого бетона висела в воздухе и не садилась, и сквозь неё всё выглядело как старая фотография. Они шли вдоль стены пятиэтажки, вернее, того, что было пятиэтажкой: теперь это был разрез дома, как в учебнике анатомии — вот кухня с уцелевшим жёлтым шкафчиком, вот ковёр, свисающий с третьего этажа, вот детская. Артём не стал смотреть на детскую. Научился.

Артёлы отработали — где-то впереди тяжело, утробно ухало, и земля передавала эти удары через подошвы, прямо в зубы. Потом стало тихо. Тишина на войне была не отсутствием звука, а звуком натянутой струны.

Двести метров. Лесопосадка стояла чёрная, обглоданная, деревья без верхушек, как карандаши, заточенные с обоих концов. Бежали короткими рывками, от воронки к воронке, и Артём делал всё то, чему научило тело: падал, перекатывался, вжимался в мёрзлую, перемолотую землю, которая пахла железом. Где-то справа закричали — коротко, по-птичьи. Он не повернул головы. Научился.

Они почти дошли, оставался последний рывок до кирпичного сарая на краю частного сектора, и Седой уже махнул рукой, и Бес ушёл влево, как положено, и Артём поднялся для рывка...

...и мир сломался.

Не было взрыва — был сдвиг, как будто кто-то рванул плёнку. Артём обнаружил себя на земле, в ушах стоял ровный белый звон, а сарай оказался не там, где был, — ближе, гораздо ближе, и за углом сарая, в трёх метрах, стоял человек.

Молодой. Это первое, что увидел Артём, — какой он молодой. В чужом пиксельном камуфляже, с таким же автоматом Калашникова, с лицом, серым от той же бетонной пыли, и глаза у него были круглые, в них стоял тот же белый звон. Наверное, его тоже швырнуло. Наверное, он тоже не понимал, как они оказались в трёх метрах друг от друга, два человека двадцати с чем-то лет, посреди города, который пах гарью и мокрым кирпичом.

Полсекунды — Артём успел подумать странное, совсем не военное: «У него прыщ на подбородке». У врага был прыщ на подбородке, как у пацана перед экзаменом, и от этого всё происходящее на одно бесконечное мгновение стало невозможным, неправдой, дурным спектаклем, который сейчас остановят.

Такой же славянин. Наверняка он тоже говорил на русском. Тоже был студентом. Его приняли на автобусной остановке, силой запихали в зелёный «Фольксваген» и привезли в ТЦК. Там научили стрелять. Как так вышло, что сейчас они стоят друг напротив друга, и их тела — в перекрестьях прицела?

Стволы поднялись одновременно — два тела сделали то, чему их учили, отдельно от голов, которые не успевали. Грохнуло слитно, одним звуком.

Удар в грудь. Артёма отбросило на спину, и небо над Бахмутом оказалось неожиданно высоким и чистым — серость висела внизу, у земли, а там, наверху, было просто небо, февральское, обычное, такое же, как над общагой, как над маминым домом в Ивантеевке.

Рядом — он скорее почувствовал, чем увидел — упал тот, второй. Совсем рядом, рукой подать. Артём слышал его дыхание, мокрое, рваное, и собственное — такое же. Два дыхания на двоих, и оба заканчивались.

«Мама», — подумал Артём. Подумал по-русски.

— Мама... — выдохнул рядом тот, вслух, тоже на русском.

И это было последнее, что Артём Савельев услышал в своей жизни: чужой голос, произносящий то же самое слово.

Потом небо стало белым, белое — звоном, звон — тишиной.

А тишина вдруг ударила в виски похмельем, перегаром и запахом чужой прокуренной квартиры.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НЕ СДОХНУТЬ ДО ОБЕДА

ГЛАВА 1. ПОХМЕЛЬЕ



Сначала была боль.

Она обосновалась в затылке, тяжёлая и круглая, как гиря, и при каждом ударе сердца перекатывалась к вискам. Артём лежал с закрытыми глазами и думал: госпиталь. Значит, вытащили. Значит, жив. Сейчас откроет глаза — будет потолок, лампа, капельница, и кто-нибудь скажет: повезло тебе, боец.

Он открыл глаза.

Потолок был. Жёлтый от табачного дыма, в разводах, с лампочкой без абажура на витом проводе. По потолку наискось шла трещина, и кто-то — зачем? — заклеил её посередине полоской изоленты. Синей.

Это был не госпиталь. Даже в ДНР таких госпиталей уже нет.

Артём повернул голову — гиря в затылке качнулась и врезалась в висок, — и увидел комнату. Ковёр на стене, бордовый, с оленями. Сервант с хрусталём, за стеклом — фотография какой-то компании на фоне «Жигулей». Телевизор «Горизонт» на тумбе, на телевизоре — кружевная салфетка и пепельница, полная окурков. На полу возле дивана, на котором он лежал, стояли две пустые бутылки из-под водки «Распутин» и одна, на треть полная, из-под чего-то жёлтого, с самодельной, криво наклеенной этикеткой.

«Контузия, — подумал Артём медленно, словно по слогам. — Это контузия. Я где-то в тылу. Меня кто-то подобрал. Местные».

Он попробовал сесть. Тело послушалось. Но сделало это необычным образом.

Тело послушалось не так, как должно было.

Оно было тяжелее. Шире. Оно село одним сильным, ленивым движением, спустило ноги на пол — и ноги были не его: в синих трениках с лампасами, босые, с широкими, плоскими ступнями. На правой ноге, у щиколотки, синел маленький кривой якорь.

У Артёма не было татуировок.

Он поднял руки к лицу — и замер.

Руки были чужие. Большие, в рыжеватых волосках, с разбитыми костяшками — костяшки были сбиты давно и заживали уже не раз, по ним это было видно, как по старому асфальту видно, что его латали. На предплечье, когда он вывернул руку, открылась русалка с хвостом и непропорционально огромной грудью, а под ней надпись полукругом: «ЛЁХА».

Сердце — чужое, большое, прокуренное — забухало так, что заболело в ушах.

— Спокойно, — сказал Артём вслух. — Спокойно, боец.

И голос был не его.

Голос был ниже, с хрипотцой, с какой-то блатной растяжкой даже в этих двух словах, — голос человека, который много курил, много орал и привык, что его слушают. Артём услышал этот голос изнутри собственной головы и снаружи, из комнаты, одновременно — и его затопило.

До ванной он добрался на чужих ногах, держась за стену, сбив по дороге табуретку. Ванная была маленькая, со ржавыми потёками на эмали, над раковиной висело зеркало в пластмассовой рамке.

Артём посмотрел в зеркало.

Из зеркала на него посмотрел незнакомый мужик лет двадцати пяти. Широкое лицо, тяжёлая челюсть, нос, сломанный и сросшийся чуть набок. Короткий ёжик русых волос. Шрам над левой бровью — белый, старый. Глаза опухшие, в красных прожилках, под ними мешки, — но сами глаза...

Артём наклонился ближе, упёршись чужими руками в раковину.

Глаза были его. Не по цвету — они были серые, а у него, у настоящего, карие. По выражению. Из чужого опухшего лица на него смотрел его собственный ужас — и это совпадение взгляда было хуже всего остального, потому что не оставляло места для версии про сон.

— Кто ты? — спросил Артём у зеркала чужим голосом.

Зеркало не ответило. Зато ответила квартира: в прихожей задребезжал звонок — длинно, нагло, потом ещё раз, потом в дверь забухали кулаком.

— Штырь! — глухо донеслось с лестничной клетки. — Штырь, ты дома, я знаю, открывай! Лёха!

Артём стоял, вцепившись в раковину, и не двигался. Гиля в затылке перекатывалась. В дверь бухали.

— Лёха, ёлки, час уже! Граф башку оторвёт — и тебе, и мне! Открывай, не зли меня!

«Лёха, — подумал Артём. — Меня зовут Лёха. У меня на руке написано».

И тут случилось второе страшное — страшнее зеркала.

Его тело пошло открывать.

Само. Не спрашивая. Оно развернулось от раковины, прошло прихожую — три шага, тело знало, что три, — привычным движением накинulo на дверь цепочку, привычным движением повернуло собачку замка и приоткрыло дверь на длину цепочки, встав при этом не напротив щели, а сбоку, у косяка. Артём ехал внутри этого тела, как пассажир, и с холодным, отстранённым изумлением понимал: оно открывает так, чтобы не словить в щель ствол или заточку. Оно делает это на автомате. Оно делало это много раз.

За дверью стоял парень — здоровенный, на голову выше, в кожаной куртке, под которой угадывался спортивный костюм, со стрижкой «площадка» и простодушным, мятым со сна лицом. Увидев Лёхино лицо в щель, он выдохнул с облегчением:

— Живой. Открывай давай, чего ты как этот.

Тело сняло цепочку. Парень ввалился в прихожую, занеся с собой холод и запах улицы — снег, бензин, ещё что-то горьковатое. Захлопнул дверь, окинул Артёма взглядом и заржал:

— Ну ты и рожа. «Распутина» вчера доби́ли всё-таки? Я ж говорил — палёный. Серёга с оптовки сам сказал: партия палёная, не берите. Не, надо было... Ладно, одевайся. Стрелка в час, на «Кировском»¹. Граф сказал — чтоб был кровь из носу.

Слова падали на Артёма, как кирпичи. Стрелка. Граф. «Кировский». Каждое в отдельности он понимал, вместе они складывались в чужой язык.

— Какое... — Артём сглотнул. Чужой голос подвёл, сорвался. — Какое сегодня число?

Парень, уже было двинувшийся в комнату, остановился. Обернулся. Посмотрел внимательно — и в простодушных глазах мелькнуло что-то осторожное.

— Ты чего, Лёх?

— Число какое. И год.

— Восьмое, — медленно сказал парень. — Февраля. Понедельник.

— Год.

— Лёха, ты меня пугаешь.

— Год скажи! — рывкнуло тело, и парень моргнул.

— Девяносто третий. Девяносто третий год, Лёх, ты чего? Ты башкой вчера не прикладывался? — Он шагнул ближе, заглянул в глаза с грубоватой, медвежьей заботой: — Так-то ты падал, я вспомнил. С табуретки. Когда «На заре» орал. Может, тебе это, врача?

Девяносто третий.

Артём стоял в прихожей чужой квартиры, в чужом теле, в чужих трениках, и в голове у него с хрустом, как лёд на Волге, ломалось мироздание. Тысяча девятьсот девяносто третий год. За девять лет до его рождения. Февраль. Он умер в феврале — и очнулся в феврале, минус тридцать лет.

Где-то там, в недостижимой дали, в две тысячи двадцать третьем, на перемолотой земле под Бахмутом осталось лежать его настоящее тело рядом с телом украинского парня, у которого был прыщ на подбородке и который тоже позвал маму перед смертью.

А здесь был февраль девяносто третьего, понедельник, и какой-то Граф ждал какого-то Лёху на какую-то стрелку.

— Не надо врача, — услышал Артём собственный чужой голос. — Перебрал я, Паш. Голова — чугун. Сейчас, умоюсь.

Он сказал: «Паш» — и только потом понял, что откуда-то знает: парня зовут Паша. И кликухи у него нет. Тело знало. Тело подсказывало, как суфлёр из будки, и от этой подсказки по хребту прошёл озноб: в этом теле был хозяин. Он съехал. Но тело его помнило. И рефлекторно, на автомате отправилось в ванную.

— Во, узнаю, — обрадовался Паша. — Умывайся, я чайник поставлю. Только по-быстрому, Лёх, серьёзно. Сегодня лучше не опаздывать. Там тема мутная, с чеченами этими. Граф дёрганный со вчера.

Артём закрылся в ванной, пустил холодную воду и долго, яростно тёр чужое лицо, словно надеялся стереть его, как грим. Не стёрлось. Из зеркала смотрел Лёха — опухший, со шрамом, с чужим сломанным носом, — и где-то на дне серых глаз тонул студент автодорожного института Артём Савельев, погибший при штурме населённого пункта, который в этом, девяносто третьем, году был просто тихим городком Артёмовском в Донецкой области, где люди добывали соль, делали шампанское и ничего ещё не знали.

Никто ничего не знал.

Один он знал всё.

¹ Кировский рынок — крупный рынок на окраине Самары, сейчас называется «Мой Кировский вещевой»

Мысль пришла именно в этой формулировке — простой и чудовищной, — и Артём замер с мокрым лицом, не дотянувшись до полотенца.

Он знал, что будет дальше. Он не был пророком, но помнил, что ждёт впереди, что будет написано в школьных учебниках. Помнил мамины рассказы, дедовы проклятия в адрес чиновников из телевизора, сотни роликов, фильмов, споров в общаге. Он знал, чем кончится приватизация и кто кем станет. Он знал про дефолт, про Чечню — Господи, Чечня же ещё даже не началась, — про башни в Нью-Йорке, про «Норд-Ост» и Беслан, про четырнадцатый год и Крым, про всё, что вело, ступенька за ступенькой, к серому небу над Бахмутом, к прыщавому украинцу с автоматом, к слову «мама», которое он и украинец сказали одновременно на одном языке. Перед смертью.

Тридцать лет. У него было тридцать лет форы, чтобы не допустить Бахмут. И чтобы прыщавый украинец доучился в своём вузе и не умер от его, Артёма, пули.

В дверь ванной поскреблись.

— Лёх. Чай налил. И это... я твою волну от греха в сервант убрал, ты её вчера на стол выложил, дверь не запер. Ты так-то нормальный вообще? На тебя не похоже.

— Нормальный, — сказал Артём чужим голосом чужому человеку в чужом тысяча девятьсот девяносто третьем году. — Уже нормальный.

Он соврал ровно наполовину.

ГЛАВА 2. СТРЕЛКА



Лёха жил в Самаре.

Это Артём понял из разговора, пока Пашина «шестёрка» цвета «мокрый асфальт» тряслась по разбитым улицам, — Паша болтал не умолкая, и каждая его фраза была для Артёма разведданными. Самара. Бывший Куйбышев, два года как переименовали обратно. Февраль, минус десять, серое небо, сугробы в человеческий рост вдоль тротуаров, и сквозь грязные стёкла «шестёрки» плыл город, которого Артём никогда не видел, — и который был странно, до дрожи знаком.

Знаком не ему. Телу.

Знание города сидело не в голове, а ниже: за этим поворотом будет хлебный, подсказывал желудок, привыкший там отовариваться; за хлебным — арка, где Лёха впервые целовался. А когда проезжали мимо длинной кирпичной девятиэтажки, шея сама втянула голову на сантиметр, плечи поднялись, и Паша, заметив, хмыкнул:

— Да расслабься, шамилёвские сюда не суются с осени.

Знание приходило не словами — рефлексам, на полсекунды раньше мысли. Артём решил пока не думать, как это работает. Список вещей, о которых он решил пока не думать, рос с каждой минутой, и он мысленно складывал их, как складывал в учебке вещи в рюкзак: плотно, по местам, потом разберётся. Иначе поедет крыша.

Город за окном был бедный и пёстрый одновременно. Облезлые фасады — и на каждом углу ларьки, обитые жестью, как сейфы, с зарешеченными окошками, и в окошках — невозможное, кислотное изобилие: «Сникерсы», «Амаретто», спирт «Рояль», жвачка, сигареты «Магна», лифчики, китайские пуховики. У ларьков топтались люди в серых пальто. Через дорогу, у гастронома, стояла очередь — длинная, тихая, состоящая в основном из старух. Старухи стояли так, как стоят давно: оседло, основательно, с авоськами наизготовку.

«Девяносто третий, — подумал Артём. — Вот он какой».

Дома, в той жизни, у бабушки в серванте лежала пачка купонов и талонов начала девяностых — она их хранила зачем-то, показывала ему, маленькому: вот, Тёмочка, как мы жили. Талоны были скучные, серенькие. Запаха у них не было. А у девяносто третьего года был запах: бензин, мороз, дешёвый табак. Из приёмника в Пашиной «шестёрке» звучала кассета, и группа «Технология» пела «Странные танцы», и это было невыносимо, потому что эту песню Артём слышал в «Тиктоке», в подборке «вайб девяностых», лёжа в своей комнате в общежитии в Подмоскowie.

— ...Я и говорю: какой процент, вы чего, это ж Графа люди, — Паша всё рассказывал что-то, что Артём слушал в четверть уха, выхватывая имена. — А этот, рыночный, Гарик который, армян, упёрся: я, говорит, и так двоим плачу, третьему не буду, хоть режьте. Смешной. Его шамилёвские доят, прикинь, втихую, а он думает, это наши же, по второму кругу. Вот сегодня и будем разбираться, кто кого доит. Только там тёрки тонкие, Лёх, шамилёвские тоже подтянутся. Граф сказал: без шума. Сказал, ты говорить будешь.

— Я? — спросил Артём раньше, чем успел прикусить язык.

— Ну а кто. Ты ж у нас голова. — Паша сказал это без иронии, с гордостью даже. — Граф так и сказал: Штырь пусть базарит, у него выходит.

«Прекрасно, — подумал Артём, чувствуя, как по чужой спине ползёт холодный пот. — Я бандит. Я бандит, который умеет разговаривать, и через двадцать минут мне разговаривать с другими бандитами на языке, которого я не знаю, о людях, которых я не видел, по понятиям, которые я слышал только в сериалах. И если я ошибусь, меня, видимо, убьют. Второй раз за неделю».

Истерика подкатила к горлу — и тут случилось то, что потом, годы спустя, он будет вспоминать как первое чудо: тело её проглотило. Чужая нервная система была толстокожей, обкатанной, она умела бояться полезно — коротким злым холодком, обостряющим зрение, — и не умела паниковать. Паника в этом теле не находила, за что зацепиться.

«Спасибо, Лёха, — подумал Артём почти с нежностью. — Царствие тебе небесное, где бы ты ни был».

Кировский рынок был городом в городе: ряды, крытые горбатой жестью, картоном и полиэтиленом, гомон, пар от дыхания, узбекские мандарины в коробках, турецкие свитера и дубленки, азербайджанская зелень, и над всем — особый рыночный звук, плотный, как вода. «Шестёрка» объехала рынок и встала на пустыре между складскими ангарами и железной дорогой, где уже стояли, нос к носу, две машины: чёрная «Волга» и тёмно-вишнёвая «девятка» с тонированными в ноль стёклами.

У «Волги», переминаясь с ноги на ногу, курили трое. Пульс, которому полагалось сорваться, вместо этого осел и выровнялся, как машина оседает на хорошей рессоре, и Артём понял, что узнаёт этих людей раньше, чем успевают рассмотреть: вон тот, кряжистый, пожилой, в кожаном плаще до пят, с лицом, похожим на сжатый кулак, — это Граф. Не вор, услужливо подсказала чужая память — не словами, а ощущением: Граф — из бывших номенклатурщиков, но смотрящие его терпят, потому что Граф умеет договариваться и заносит куда надо. Рядом — Циркуль, длинный, дёрганный. При взгляде на третьего внутри не отозвалось ничего — новенький.

А у «девятки» стояли чужие. Четверо кавказцев. И руки Артёма, не спросив его, расстегнули куртку, а ступни мелкими, не его шажками увели корпус на полшага влево, разрывая линию между Пашей и чужими. В коленях стояла лёгкая пружинная дрожь, как перед прыжком с вышки.

— О, — сказал Граф вместо приветствия, не вынимая рук из карманов плаща. — Явление. Свежий, как огурец из бочки. Подойди.

Артём подошёл. Вблизи у Графа оказались глаза — выцветшие, голубенькие, почти ласковые, и от этой ласковости хотелось оказаться подальше.

— Слышал, ты вчера головой об пол стучал, — негромко сказал Граф. — Сегодня соображаешь?

— Соображаю.

— Смотри мне. — Граф повернулся к чужим и сказал уже громче, расправляя голос, как плечи: — Ну что, Шамиль, здорово, что ли. Звал — пришли. Излагай.

От «девятки» отделился невысокий, плотный кавказец в дорогой дублёнке. Лицо у него было спокойное и неприятно умное.

— И тебе не хворать, Граф. — Голос с лёгким акцентом, мягкий. — Излагаю. Армян с овощных рядов — наш. С августа наш. А твои люди, — кивок в сторону Артёма, — приходят к нему как к себе домой. Нехорошо. Люди могут подумать, у Графа кушать нечего, раз Граф по чужим карманам пошёл.

— По чужим? — Граф улыбнулся одними губами. — Гарик на этом рынке торгует с девяносто первого года. Под нами — с девяносто первого года. У тебя, Шамиль, в августе девяносто первого знаешь, что было? Ларёк со жвачкой и «Сникерсами» на Поляне. Так чей армян?

— Это всё слова, — пожал плечами Шамиль. — У тебя слова, у меня расписка. Гарик сам подписал, что с августа платит нам. Сам! Никто не заставлял.

Он сделал знак, и один из его парней протянул сложенный листок. Граф не шевельнулся. Пауза повисла нехорошая — Артём почувствовал, как у чужих и у своих одинаково, зеркально, опустились вдоль тел руки, освобождаясь, — и в эту паузу Граф, не поворачивая головы, сказал:

— Штырь. Глянь бумагу.

И Артём пошёл. Четыре шага по утопанному снегу пустыря между складами, под всемою парами глаз, в феврале девяносто третьего года. Он понял, что его новая жизнь началась не в квартире с зеркалом, а вот тут, на этом пустыре, где пахло креозотом от железнодорожных путей. Он взял листок. Развернул.

Студент, выросший в мире, где каждый второй ролик в ленте назывался «как вас разводят», увидел то, что увидел бы не каждый здешний: расписка была написана одной рукой, а подпись — другой. Даже чернила были другого цвета. Текст был написан фиолетовой пастой, подпись — синей. И дата стояла «28 августа», а бумага была перегнута вчетверо, но сгибы свежие, не залохматившиеся, — бумаге было от силы недели две.

Сердце бухнуло. Нижняя челюсть пошла вперёд, губы сами начали складывать что-то короткое и хамское, что-то вроде «фуфло», — и Артём впервые перехватил управление, физически, как перехватывают руль: сжал зубы и переждал два удара пульса.

— Хорошая бумага, — сказал он спокойно, и собственное спокойствие оглушило его. — Только вот какое дело. Дата августовская, а сгибы свежие. Полгода бумагу в кармане носить — она по сгибам лохматит, сами знаете. Этой бумаге две недели. И паста: писал один, подписывал другой. Я не говорю, что Гарик не подписывал, — может, и он. Две недели назад. Когда ему ваши ребята объяснили, что подписать — полезно для здоровья.

Стало тихо. Где-то за ангарами шумел рынок. Вдалеке прогудела электричка. Шамиль смотрел на Артёма с новым выражением — так смотрят на собаку, которая вдруг заговорила.

— Поэтому предлагаю, — продолжил Артём, не давая тишине загустеть (он не знал, откуда взялась эта интонация — ровная, скучная, бухгалтерская), — не маяться с бумажками, а спросить Гарика. При всех. Здесь. Пусть сам скажет, кому он платит добровольно, а кому — под дулом пистолета. Если я не прав — Граф при всех извинится, и вопрос закрыт. Если прав — извиняться будете вы. Рынок рядом. Десять минут.

Он замолчал. Чужое сердце колотилось о рёбра, как чужой кулак в дверь, но снаружи — он знал, чувствовал — лицо Лёхи Штыря оставалось скучным и каменным.

Граф медленно, очень медленно повернул голову и посмотрел на Артёма своими голубенькими глазками. Во взгляде было странное: так смотрят на привычную вещь, которая вдруг сделала что-то непредусмотренное. На зажигалку, например, которая запела.

— А чего, — сказал Граф ласково. — По уму. Зови армяна.

...Гарик Аванесов оказался маленьким, круглым, с великолепными печальными усами и глазами человека, который уже три месяца спит по два часа. Его привели с рядов прямо в фартуке; увидев обе бригады разом, он побледнел до цвета февральского неба — но когда Артём, отойдя с ним на пять шагов, негромко спросил: «Гарик, тебя никто резать не будет, скажи как есть: расписку когда подписывал — в августе или после Нового года?» — Гарик вдруг глянул ему в глаза, цепко, по-взрослому, как смотрят люди, которым нечего терять, и сказал:

— А ты первый, кто спросил, дорогой.

И рассказал. Всё: про январь, про двоих с ножом в подсобке, про «подпиши задним числом», про то, что платит теперь в две кассы и торгует в минус.

Дальше Артём помнил плохо — не от страха, от перенапряжения: какие-то длинные злые переговоры Графа с Шамилём в стороне, у «Волги»; как шамилёвские грузились в «девятку» молча, и один, уходя, посмотрел на Артёма долгим запоминающим взглядом; как Граф, уже в машине, сказал, глядя в окно: «С каких пор ты в бумажках понимаешь, Штырь?» — и Артём ответил заготовленное: «Книжку прочитал», — и Граф хмыкнул: «Книжку. Ты читать-то когда выучился?» — но хмыкнул довольно.

А вечером, когда Паша наконец высадил его у подъезда и уехал, Артём поднялся в чужую квартиру, запер дверь на оба замка, сел на пол в прихожей, не снимая куртки, и его начало трясти.

Когда весь ужас первого дня в 1993 году прошёл, Артём встал, нашёл на серванте начатую общую тетрадь в клетку — на первой странице рукой Лёхи были записаны какие-то долги, — вырвал исписанный лист, открыл чистый и наверху, своим, артёмовским почерком, мелким и ровным, никогда не принадлежавшим Лёхе Штырю, написал:

«8 февраля 1993 года. Меня зовут Артём Савельев. Мне 21 год. Я родился в 2002 году и умер в 2023-м. Пишу, чтобы не сойти с ума и ничего не забыть.

Что я помню о будущем:»

И до глубокой ночи, под жёлтой лампочкой без абажура, писал.

ГЛАВА 3. АРХИВ ЛЁХИ



Список занял четырнадцать страниц.

Артём писал его три ночи — днём не получалось, днём была чужая жизнь: разборки, пьянки, объезд «коммерсов» со сбором дани, — и к концу третьей ночи понял две вещи. Первая: он помнил чудовищно много. Вторая: он помнил чудовищно мало.

Он помнил эпоху — и не помнил дат. Помнил, что будет дефолт, — августовское слово из маминых рассказов, «мы тогда всё потеряли», — но какого числа? Девяносто восьмой — это точно, август — почти точно, а число? Помнил «чёрный вторник» — но какого года вторник и что именно там рухнуло? Помнил, что МММ лопнет летом девяносто четвёртого, — это знал твёрдо, по фильму, который смотрели с парнями в общаге, — но летом, это когда: июнь? июль? Помнил, что в октябре этого, девяносто третьего, года в Москве будут стрелять танки по Белому дому, — число выплыло само, школьное, «3–4 октября», — и от того, как буднично оно выплыло, стало нехорошо: там погибнут люди, а он помнит это как билет на экзамене.

Целые материки будущего лежали в тумане. Зато из тумана торчали странные, бесполезно острые вершины: он помнил курс биткоина по годам — биткоина, до изобретения которого было пятнадцать лет. Помнил составы чемпионских команд. Помнил мемы. Кому здесь, в феврале девяносто третьего, нужны мемы?

«Знание — не карта, — записал он на пятнадцатой странице. — Знание — это обрывки карты. Правило № 1: никогда не ставить всё на дату, которую помню „почти точно“. Правило № 2: записывать сразу. Память будет врать дальше».

Он ещё не знал, насколько окажется прав — и насколько страшным способом.

Тетрадь он спрятал так, как прятало тело: оно само подсказало место, и место Артёма впечатлило — в кухне, за съёмной планкой подоконника, обнаружился пенал-тайник, выдолбленный в бетоне, а в пенале уже лежали: пачка долларов, перетянутая аптечной резинкой, пас-

порт на имя Купцова Алексея Николаевича, 1970 года рождения, и пистолет — второй, про который не знал даже Паша.

Доллары Артём пересчитал. Две тысячи триста. Паспорт изучил, как изучают досье: прописка — здесь, улица Ташкентская; штампов о браке нет; на фотографии Лёха был моложе, без шрама, и улыбался уголком рта — живой человек, не функция. Пистолет Артём, поколебавшись, разрядил — обойму отдельно, ствол отдельно, как учили, — и убрал обратно. Тело отнеслось к разряженному пистолету с молчаливым неодобрением.

Следующие десять дней были «курсом молодого Лёхи».

Он учил чужую жизнь, как учат язык погружением: с нуля, без словаря, ошибаясь на каждом шагу. Источников было четыре.

Первый — квартира. Записная книжка у телефона (Артём не сразу даже справился с набором номера на дисковом устройстве): четыре десятка имён, половина — клички, против трёх имён — крестики. Фотографии за стеклом серванта: вот Лёха с Пашей на фоне «Жигулей», совсем пацаны, лет по семнадцать; вот компания на волжском пляже, и Лёха в центре, и рядом — девушка, яркая, смеющаяся, снятая чуть чаще остальных: на трёх фото из девяти. Под клеёнкой кухонного стола — квитанции, и из квитанций следовало, что Лёха платил за две квартиры: за эту и ещё за одну, на Безымянке, — и Артём две ночи гадал, что там, на Безымянке, пока не догадался спросить у записной книжки: рядом с адресом было написано «мама».

Второй источник — Паша. Паша был золото, а не источник: он болтал. Надо было только запускать его, как заводную игрушку, короткими «а помнишь?» — и Паша вспоминал сам, взхлёб, с подробностями: как в восемьдесят девятом качались в подвале у Капитоныча; как в девяносто первом «встали на ворота» у первого кооператива; как Лёхин батя, царствие небесное, гонял их обоих... Артём слушал, кивал, смеялся, где Паша смеялся, — и складывал биографию покойного хозяина тела, как пазл: школа на окраине, отец-крановщик, умер в девяносто первом, армия не случилась — «откосили же, помнишь, Граф порешал», секция бокса, рынок, бригада. Обычная жизнь. Страшно обычная. Полстраны таких Лёх стояло сейчас по рынкам и пустырям, и почти никто из них — Артём знал это точно, из своего далека, — не доживёт до пенсии.

Третий источник — мать.

К матери он поехал на четвёртый день, с продуктами — сумка собралась почти без его участия: руки сами, в раз и навсегда заученном порядке, укладывали тяжёлое вниз, хрупкое вверх, и по тому, что они уложили (мука, масло, сахар, чай, две банки тушёнки, шоколадка «Алёнка»), Артём понял про покойного Лёху что-то важное и щемящее. Безымянка встретила заводскими трубами и бараками; квартирка оказалась однокомнатной, чистенькой, с геранью. Тамара Ивановна Купцова была маленькой, сухой, с быстрыми руками, и она открыла дверь, увидела его и сказала:

— Лёшенька. А я блины поставила, сердце чуяло.

И вот тут, в прихожей с геранью, Артёма впервые за все эти дни по-настоящему накрыло — не страхом, со страхом тело справлялось, а стыдом такой силы, что потемнело в глазах. Эта женщина потеряла сына. Восьмого февраля, на грязном диване под жёлтой лампочкой, её Лёшенька умер от палёной водки, и она об этом никогда не узнает. Никто на свете не узнает, и не помянет, и не заплачет. Сын будет приходить к ней по четвергам, есть блины, чинить кран — чужой человек с родным лицом.

«Я не просил этого», — хотел сказать себе Артём, и не сказал, потому что это была правда, которая ничего не меняла.

Он ел блины. Слушал про давление, про соседку Клаву, про то, что на заводе Серёже опять задерживают зарплату — какому Серёже? — и осторожно, по слову, вытягивал: Серёжа, младший брат. Восемнадцать лет, доучивается в техникуме при заводе, живёт в общежитии при том

же техникуме, «к матери заходит реже, чем ты, поганец, хоть ты ему скажи». Лёха, выходит, был старшим — и, судя по сумке с продуктами и оплаченным квитанциям, тащил обоих.

— Мам, — сказал Артём, и слово далось легче, чем он боялся. — А Серёге в армию когда?

— Так осенью, — Тамара Ивановна подперла щёку. — В ноябре, сказали, заберут. Я уж и не знаю, Лёш... По телевизору вон чего творится. Куда заберут-то? Время-то какое.

Артём смотрел в тарелку. Ноябрь девяносто третьего. Год до декабря девяносто четвёртого. Восемнадцатилетний пацан с гитарой, которого он ещё даже не видел, по исходному расписанию этого мира имел все шансы встретить новый, девяносто пятый год в горящем Грозном.

«Не в моей смене, — подумал Артём с холодной, незнакомой ему прежде ясностью. — Этого — не будет. Хоть что-то из этого — не будет».

— Не заберут, — сказал он вслух. — Я разберусь, мам. Обещаю.

Тамара Ивановна посмотрела на него поверх чашки — долгим бабьим взглядом, в котором было больше понимания, чем он мог вынести.

— Ты какой-то другой стал, Лёша, — сказала она тихо. — Раньше зайдёшь — всё бегом, глаза пустые, как не здесь. А теперь сидишь... разговариваешь. Блины вон хвалишь. — Она помолчала и добавила совсем тихо, в чашку: — Ты уж останься такой. Какой сейчас.

Четвёртым источником была Рита.

Она позвонила сама, на восьмой день, вечером, — телефон зазвонил, тело сняло трубку раньше головы, и женский голос, низкий, насмешливый, сказал без «здравствуй»:

— Живой, значит. А по городу звон, что Штырь то ли крестился, то ли тронулся: бумажки читает, Шамяля носом ткнул, у Гарика, говорят, теперь лучший друг. Самой посмотреть, что ли. В субботу в «Океане» наши гуляют. Придёшь?

— Кто это? — спросил Артём. Спросил искренне — и услышал в трубке короткую, в полсекунды, паузу, острую, как порез.

— Та-ак, — протянул голос уже другим тоном, медленным. — Интере-есно. Семь лет «это я» говорила — узнавал. Рита это, Лёшенька. Рита. А вот ты у нас теперь кто — я, пожалуй, в субботу и спрошу.

И короткие гудки.

Артём поймал себя на том, что смотрит на аппарат и ждёт от него невозможного. Экрана. Списка звонков. Кнопки «перезвонить». Аппарат был пластиковый, с диском и трубкой тяжёлой, как гантель, и не умел ничего: ни сказать, кто звонил, ни запомнить номер, ни даже погудеть по-человечески. Захочешь перезвонить — крути шесть цифр пальцем, на пятой палец соскользнёт, и начинай сначала. В его прошлой жизни телефон знал о нём всё. Здешний не знал даже, который час. «Самое страшное в этом времени не бандиты, — подумал он отстранённо. — Самое страшное, что здесь ничего нельзя загуглить. Слово-то какое... Здесь его даже произнести некому».

Артём стоял с трубкой в руке посреди чужой комнаты. За окном, над крышами Самары, догорал февральский закат — длинный, морозный, в полнеба. Где-то там, за тысячу километров к юго-западу, лежал под таким же закатом тихий городок Артёмовск, где добывали соль и делали невкусное шампанское и ничего не знали. А здесь, на Ташкентской, стоял человек с двумя именами, четырнадцатью страницами будущего в тетрадке и первой в новой жизни проблемой, которую нельзя было решить ни деньгами, ни послезнанием: женщина, знавшая покойного Лёху Штыря семь лет, назначила ему очную ставку с самим собой.

До субботы оставалось три дня.

До путча — семь месяцев.

До Грозного — год и десять месяцев.

До Бахмута — тридцать лет.

ГЛАВА 4. ГРАФ



За Лёхой приехали в четверг. И это был не Паша.

Артём понял это по звонку в дверь: Паша звонил длинно и нагло, как к себе. Этот позвонил один раз, коротко, и затих. Тело среагировало раньше головы: подошло сбоку, глянуло в глазок.

На площадке стоял Циркуль — длинный, в куртке-«алюске», со скучающим лицом.

— Граф зовёт, — сказал он в щелку двери, не дожидаясь вопроса. — Сейчас.

В машине — не «шестёрке», а серой «Волге» с водителем, которого Артём не знал, — Циркуль молчал всю дорогу и только раз, на светофоре около «Звезды», сказал, глядя в окно:

— Ты это. Складно вышло с армяном. — Помолчал и добавил без перехода, той же скучной интонацией: — Клещ воет, что ты выскочка. Знаешь, да?

— Догадываюсь, — осторожно сказал Артём.

— Догадывается он, — хмыкнул Циркуль и больше не сказал ничего.

Кафе называлось «Чайка» и стояло на набережной — приземистое, советское ещё здание, наполовину переделанное под новую жизнь: внутри пахло котлетами и свежей краской, у входа дремал вышибала, а за стойкой царила необъятная женщина с крашеными волосами и глазами умной немолодой кошки. Имя всплыло раньше мысли, на выдохе: Люся. И щёки сами собрались в полуулыбку — лицо помнило то, чего не знал Артём: Люсе принято улыбаться, потому что Люся видит всё.

— Лёшенька, — пропела Люся, окинув его одним взглядом, как рентгеном. — Похорошел. Трезвый, что ли? Иди, ждут тебя. Кофе принесу.

Граф сидел в дальнем зале, маленьком, без окон, за столом, накрытым на одного: чай в стакане с подстаканником, пряники, газета «Коммерсантъ». Напротив, у стены, развалился на стуле парень, которого Артём уже видел среди своих: жилистый, с маленькой головой на

длинной шее, с быстрым неприятным ртом. Клещ. Тело выдало про него короткую справку одним ощущением: гнилой.

— Сядь, — сказал Граф, не отрываясь от газеты.

Артём сел. Люся внесла кофе — настоящий, сваренный в турке, — поставила, ушла, прикрыв дверь. Граф дочитал колонку, сложил газету пополам, потом ещё пополам, положил ровно, параллельно краю стола.

— Расскажи мне, Штырь, — сказал Граф ласково, — как ты падал.

— Чего?

— С табуретки. Восьмого числа. Паша рассказывает: пел, упал, башкой приложился. Утром встал — другой человек. Бумажки читаешь. Шамиля, волка, на ровном месте носом ткнул, и Шамиль — Шамиль! — утёрся.

Граф отпил чай, не сводя с Артёма голубеньких глазок.

— Я тебя, Лёша, с шестнадцати лет знаю. Ты парень верный, руки правильные. Но ты, не обижайся, всю жизнь был мебелью. Табуреткой. И вот табуретка падает с табуретки — и встаёт роялем. Сама играет. Я старый, я в чудеса не верю. Я верю в две вещи: или человека подменили, или человека купили. Какая из двух?

В маленьком зале стало очень тихо. Клещ у стены подобрался — неторопливо, со вкусом, как подбираются к чужой беде. Артём смотрел на сложенную вчетверо газету и слышал, как в висках стучит чужая кровь.

«Он сказал это в шутку, — понял Артём. — „Подменили“ — это у него фигура речи. Он не знает, что попал в десятку. И если я сейчас дёрнусь — узнает».

И Артём сделал то, что репетировал три ночи перед зеркалом, дословно, на такой вот случай: усмехнулся углом рта — Лёхиной усмешкой с фотографии в паспорте — и сказал устало:

— Купили. Ага. На все деньги.

Он подался вперёд, положил на стол тяжёлые руки с перстнями наколок.

— Граф, я тебе как есть скажу, ты только дослушай, не перебивай. Я в январе в аварию попал, на трассе, ты знаешь. Башкой о стойку. Две недели как в тумане ходил. Паша видел, спроси. А восьмого добавил палёной водки и приложился ещё раз. И что-то там, видать, на место встало. Или с места сошло, не знаю. Я теперь, Граф, по ночам не сплю. Лежу и думаю. Раньше не думал — жил и жил. А теперь думаю — и страшно мне, понял? Я вперёд смотрю и вижу: нас всех через пять лет закопают. Не Шамиль — время закопает. Деньги другие пошли. Бумажные. Кто бумагу читать выучится — тот будет этих, в пиджаках, доить законно, по конторскому делу. Кто не выучится — тех по пустырям и закопают, штабелями. Я выучиться хочу. Вот и вся моя подмена.

Он замолчал. Сердце колотилось. Где-то за стеной, в большом зале, Люся гремела посудой, и приёмник пел про американ-боя.

Граф смотрел на него долго. Потом перевёл взгляд на свои руки, повертел подстаканник.

— Складно, — сказал он наконец. — Вот это меня и смущает, Лёша. Складно очень. — Он поднял глаза, и ласковости в них больше не было, была работа. — Но я тебя проверю не словами. Слова — что? Слова теперь все говорить умеют, телевизора насмотрелись. Я тебя делом проверю. Клещ!

Клещ оттолкнулся от стены.

— У нас сколько точек? — спросил Граф, не глядя на него.

— Ну... сорок две по рынку, плюс ларьки, плюс...

— Бумаги по ним кто смотрит?

Клещ моргнул:

— Какие бумаги, Граф? Бабки считаем, и все бумаги. Чё их смотреть-то. Пацаны собирают, я свожу...

— Вот, — сказал Граф с непонятым удовлетворением и повернулся к Артёму. — Слышал? «Чё их смотреть». А мне тут шепнули, что половина наших «коммерсов» в кооперативы переписалась, а кооперативы — в эти, как их, «товарищества». И что доим мы, выходит, пустышки: фирма «Ромашка» нам платит, а товар уже через фирму «Лютик» ходит, а «Лютик» мы знать не знаем. Шустрые люди выучились бумагу читать, Лёша. Раньше нас выучились.

Он подвинул через стол картонную папку с тесёмками.

— Тут то, что Люся по знакомству из горисполкома достала. Учредительные бумаги, по нашему кусту. Сядешь и посмотришь своими новыми глазами. Найдёшь, кто нас на бумаге кидает — будешь у меня коммерцию смотреть. Всю. Не найдёшь...

Граф не закончил. Развязал тесёмки, полюбовался и продолжил о другом:

— А Гарика твоего, кстати, вчера опять навещали. Не шамилёвские, тех Шамиль отозвал, слово держит. Другие. Двое, не местные, даги, на чёрном «бумере». Поговорили вежливо и уехали. Гарик трясётся, тебе звонить боится.

Граф поднялся, взял газету, сунул под мышку.

— Так что ты с бумагами-то не тяни, рояль. Музыка, чую, скоро начнётся.

Он поднялся и вышел. Клец задержался в дверях — обернулся, смерил Артёма взглядом сверху вниз, от ботинок, и сказал негромко, со вкусом:

— Бумажки ему. Пацаны на морозе мёрзнут, а он бумажки нюхать будет. Учёный. Ты упал удачно, Штырь. Смотри, как бы второй раз не упасть. С высоты-то оно больней.

Дверь хлопнула. Артём остался один в маленьком зале без окон, с остывшим кофе и картонной папкой, в которой лежала его первая в этом мире настоящая работа.

Он развязал тесёмки.

«Господи, — подумал он, увидев первую страницу — слепую машинопись через фиолетовую копирку, устав ТОО „Прогресс-Сервис М“. — Я в девяносто третьем году. Здесь нет даже экселя».

И почему-то именно от этой мысли ему впервые за девять дней стало почти весело.

ГЛАВА 5. РИТА



Ресторан «Океан» по субботам гулял.

Снаружи — стекляшка семидесятых годов с неоновой надписью, у которой не горели две буквы; внутри — дым столбом, столы буквой «П», на сцене — гитарист и певица в люрексе, и человек шестьдесят гостей, по которым можно было изучать новейшую историю страны: малиновые пиджаки и треники за одним столом, золотые цепи поверх свитеров — за другим, у женщин — мех, люрекс, начёс и глаза разной степени усталости. Гуляла бригада — отмечала день рождения Циркуля, — и гулял весь город вокруг бригады: примкнувшие коммерсанты, какие-то девушки, какой-то человек из горисполкома, потевший от собственной смелости.

Артём, четыре дня просидевший за папками, разбирая фирмы-прокладки,пил мало, говорил мало и работал: запоминал. Лица, клички, кто с кем сидит, кто кому наливает, кто на кого не смотрит.

Риту он узнал сразу — по фотографиям с пляжа. Она вошла в десятом часу, когда уже дважды станцевали под «Кар-Мэн», — вошла одна, в коротком чёрном платье. Ей было лет двадцать пять. Она была не красивая даже, а точная — как хорошо сделанная вещь, — тёмные волосы, твёрдый рот, и взгляд, которым она повела по залу, как луч по воде, пока не нашла Артёма.

Дальнейшее он наблюдал с обречённостью человека, смотрящего на приближающийся поезд: Рита прошла через зал, села напротив Артёма — кто-то торопливо освободил стул — поставила локти на стол, подбородок на сплетённые пальцы и стала смотреть.

— Ну здравствуй, Лёшенька, — сказала она. — Рассказывай.

— Что рассказывать?

— Всё рассказывай. — Она улыбнулась. — Как живёшь. Что читаешь. Говорят, ты теперь читаешь.

— Уставы товариществ с ограниченной ответственностью, — сказал Артём чистую правду. — Увлékательно. Особенно где про уставный капитал.

— Смешно. А Лёша бы сейчас, знаешь, что сделал? Налил бы мне, придвинулся и сказал: «Ритуль, не грузи». Он всегда так говорил, когда я умные вопросы задавала. «Не грузи». Семь лет. А ты сидишь — и молчишь.

«Вот оно, — подумал Артём. — Вот так это и происходит. Не на стрелке, не у Графа. Вот так».

— Люди меняются, — сказал он ровно.

— Меняются, — легко согласилась Рита. — Я вот изменилась: раньше дура была, теперь нет. Хочешь, скажу, что я вижу? Походка другая. Лёша ходил вразвалку, плечами вперёд, его с детства так батя выучил — «хозяином иди». А ты ходишь ровно, и голову так держишь... как солдатик. Когда ешь, левой рукой помогаешь — Лёша не помогал, он хлебом возил. Водку не пьёшь, а делаешь вид, аккуратненько так. Это что у нас, Лёшенька, — школа какая-то? Кто ж тебя за месяц так выучил и, главное, зачем?

Артём молчал ровно столько, сколько молчат, выбирая слова, — и ни секундой дольше. Внутри было звеняще пусто. Все заготовки — авария, туман, «что-то встало на место» — были рассчитаны на мужчин, на Графа, на логику дела. Против женщины, семь лет изучавшей Лёху, заготовок не было.

И он сделал единственное, что оставалось: шагнул ей навстречу.

— А зачем тебе правда, Рит? Вот смотри, какой расклад. Вариант раз: я тот же Лёха, просто головой ударился и поумнел, — тогда тебе скучно, ты уже всё про меня знаешь. Вариант два: я не тот Лёха, которого ты знаешь. И это страшно. Есть вариант три: перед тобой человек, который очень хочет вытащить из этого болота всех, кого получится: мать, Серёгу, Пашку-дурака, может, даже тебя. И которому для этого нужно, чтобы никто не задавал вопросы, на которые нет хороших ответов. Выбирай вариант, какой нравится. Я подпишусь под любым.

Певица в люрексе запела «Ах, какая женщина». За столами заорали и потянулись танцевать. Рита сидела неподвижно, и по её точному лицу впервые за вечер нельзя было прочесть ничего.

— Лёша бы так не смог, — сказала она наконец, медленно. — Ни слов таких, ни... вот этого всего. — Она усмехнулась одной стороной рта, взяла рюмку, выпила, не чокаясь, как на поминках, и Артёма передёрнуло от того, насколько точным был жест.

Она поднялась, набросила куртку, посмотрела на него сверху — долго, как смотрят, запоминая.

— Я выбираю вариант три, — сказала она. — Пока. Но ты учти, Лёшенька, или как тебя там: я не Граф, мне дело не предъявишь. Я сердцем смотрю. Соврёшь сердцу — узнаю раньше тебя самого.

И ушла — через дым, через «ах, какая женщина, мне б такую», не оглянувшись, и зал опять чуть притих ей вслед.

А Артём сидел над нетронутой рюмкой и думал о том, что в тетради за подоконником придётся дописывать правило номер три. Он его уже записал — «самое опасное — те, кто его любил», — но теперь знал, что формулировка неточная.

Самое опасное — те, кто его любил и не был любим в ответ. У этих глаза открыты.

ГЛАВА 6. ВАУЧЕР



Гараж дяди Кости стоял в кооперативе «Жигули-2», и Артём попал туда по делу скучному и бандитскому: бригада держала в двух боксах «товар» — китайские пуховики. Графу пришло анонимное сообщение, что боксы собираются вскрыть. Лёху послали глянуть. Лёха — он же Артём — поехал. Но думал он не о пуховиках, а о фирмах-прокладках, о Вите Беспалом, бывшем бандите Шамиля, который, как по секрету сообщил Пашка, очень обиделся на Лёху Штыря, и о том, что денег у него — две тысячи триста долларов и тающая пачка рублей.

Дядя Костя оказался сторожем кооператива: сухой старик в железных очках, в телогрейке, с выдубленным лицом. В сторожке у него было натоплено, пахло махоркой, на стене висел портрет Гагарина, а на столе, прижатая гранёным стаканом, лежала бумажка.

Артём увидел её, когда дядя Костя разливал чай, — и сначала скользнул взглядом, а потом вернулся и уже не смог оторваться.

Бледно-оранжевая. С водяными знаками. Белый дом — тот самый, по которому через семь с половиной месяцев будут бить танки, — на картинке, в овале. «Приватизационный чек. 10 000 рублей. 1992».

Ваучер. Живой. Первый, который Артём видел не на фотографии.

— Чего уставился? — дядя Костя проследил его взгляд и хмыкнул. — Фантик-то? Зять притащил, на заводе выдали. Иди, говорит, батя, вложи в этот... в фонд, по телевизору обещают. Я ему говорю: я своё уже вложил. Сорок лет на ЗиМе² — вложил. Облигации сталинские — вложил, и где они? На антресолях, вместе с займом семьдесят какого-то года. Теперь вот эту бумагу мне суют. Две «Волги», рыжий³ обещает.

² ЗиМ, завод имени Масленикова, крупное оборонное предприятие в Куйбышеве. В «девяностых» развалилось, цеха были снесены. На этом месте сейчас элитное жильё.

³ Имеется в виду Анатолий Чубайс

Старик отхлебнул чаю.

— Я так думаю: продам за две бутылки — и то прибыль. Хочешь — тебе отдам, ты парень при делах, может, знаешь, куда их девать, фантики эти.

Артём держал ваучер в руках — лёгкий, чуть шершавый, — и в голове у него с тихим щелчком, как тумблер, включался свет.

Он знал, куда их девать. Он, может быть, единственный человек в этом городе, который знал это не из телевизора и не из слухов, а задним числом, с ответами в конце задачника. Дома, в той жизни, был ролик, в котором старый экономист с цифрами на доске разбирал, сколько в девяносто третьем стоил ваучер на руках, сколько — пакет акций, в который его можно было вложить, и сколько эти акции стали стоить через десять лет. Цифры он, конечно, не помнил. Помнил вывод, врезавшийся, как реклама: «За цену двух бутылок водки страна продавала билеты в первый класс. Просто никто не верил, что корабль поплывёт».

— Дядь Кость, а много на заводе таких... которые за две бутылки отдать готовы?

— Да почитай все. Деньги-то горят, ты видал, что с ценами? Людям жрать сегодня надо, а не «Волгу» через десять лет. Десять лет ещё прожить попробуй. У проходной уже скупают, кстати, стоят такие, шустрые, с табличкой картонной: «Куплю ваучер». Четыре дают, кто поторгается — четыре с половиной.

«Четыре тысячи рублей, — Артём считал быстро. — Доллар нынче — пятьсот семьдесят с чем-то, я в обменнике видел. То есть ваучер у проходной — семь-восемь долларов. У меня в тайнике две триста. Это триста ваучеров, если в лоб. А в лоб нельзя...»

— ...и чего обидно, — гудел между тем дядя Костя, — бумагу-то не на год дали. До конца девяносто третьего она годна, а дальше — тью-тью, обёртка. Народ и торопится скинуть, пока хоть что-то...

Вечером того же дня Артём, переправивший пуховики в другой съёмный гараж, наврав Паше про визит к зубному, сидел в читальном зале областной библиотеки на улице Осипенко.

Это было, возможно, самое странное зрелище в библиотеке за весь февраль: бандит в кожаной куртке, с перстнями наколок на пальцах, обложившийся подшивками — «Коммерсантъ», «Экономика и жизнь», «Известия», — и конспектирующий мелким ровным почерком в общую тетрадь. Библиотекарша, выдавая подшивки, держалась от него на дистанции; через час, убедившись, что он действительно читает, принесла, не спрашивая, ещё «Финансовую газету»; через три — стакан чаю.

Работа, на которую раньше у него ушло бы три минуты — два запроса в нейросеть, фильтр по дате, готово, — здесь заняла четыре часа и состояла из физического труда. Каталожные ящики с карточками, заполненными от руки. Подшивки весом с хорошую гирию, которые надо было заказывать и ждать, пока принесут из хранилища. Никакого поиска по слову: хочешь найти «чековый аукцион» — листай всё подряд и веди пальцем по колонкам, пока палец не почернеет от типографской краски. Информация в этом мире имела вес, запах и скорость пешехода, и Артём, выросший там, где она была как воздух, к концу второго часа поймал себя на тихом бешенстве: будто ему завязали глаза и предложили искать на ощупь. Потом бешенство прошло. Пришло другое: если информация ходит со скоростью пешехода, то человек, у которого она уже в голове, двигается со скоростью истребителя.

А Артём читал, и чем дальше читал, тем яснее видел картину, от которой захватывало дух и подташнивало одновременно.

Всё лежало на поверхности. Всё было напечатано чёрным по белому, открыто, с адресами и телефонами: какие предприятия выходят на чековые аукционы, как подать заявку, как создать чековый фонд. Будущее не пряталось. Будущее печаталось тиражом сто тысяч экземпляров и стоило десять рублей в киоске. Просто читали его единицы, а верили прочитанному вообще, кажется, тысяч пять на страну. Остальные миллионы взрослых людей держали в руках по оранжевой бумажке и слушали анекдоты про две «Волги».

«Мне не нужно послезнание про биткоин, — думал Артём, и рука у него подрагивала. — Мне нужно послезнание про одно: ЭТО ВСЁ ПРАВДА. Аукционы — настоящие. Акции — настоящие. Заводы — настоящие. Я единственный в этом зале знаю, что корабль поплывёт. Вот и вся моя фора. Господи, какая огромная фора».

План сложился к закрытию библиотеки, и был он на бумаге прост, как табуретка:

Первое. Деньги тайника — в ваучеры, но не у проходной по одному, а оптом: через Гарика. У Гарика на рынке двадцать прилавков знакомых торговцев, которым несут ваучеры каждый день и которые сами не знают, куда их девать. Гарик соберёт тихо, без табличек, и Гарик после той стрелки за него — в огонь и воду.

Второе. Молчать. Никаких «фантиков» при бригаде. Исключение — Граф. Для него отдельная песня, и петь её рано: сначала найти ему его прокладки, заслужить уважение.

Третье — и про третье Артём думал дольше всего, грызя казённую ручку под взглядом библиотечарши. Целиться не в «вообще акции», а в те, что обязательно вырастут. Он помнил твёрдо, что «Газпром», «Транснефть», «Норникель» — слова, которые в его времени означали «деньги» так же непреложно, как слово «хлеб» означало хлеб. Где будут чековые аукционы на эти компании, он не знал. Значит, надо узнать. Газеты печатают графики аукционов. Будущее продаётся в киоске за десять рублей.

Он вышел из библиотеки в девятом часу, пожилая библиотечарша терпеливо дождалась необычного читателя. Мороз отпустил, с крыши капало — первый, фальшивый ещё, февральский намёк на весну. У гастронома напротив грузили хлебный фургон, из «комка» светило кислотным светом изобилие, где-то в темноте дворов бухала музыка. Город жил, не зная о себе ничего: ни про октябрь, ни про девяносто восьмой, ни про то, каким он, этот город, будет через тридцать лет.

А на следующее утро, в воскресенье, двадцать первое февраля — дату он специально отметил в тетради — Артём сидел в подсобке у Гарика, среди ящиков с мандаринами, и Гарик, выслушав, долго смотрел на него своими печальными глазами, накручивая ус.

— Слушай, дорогой. Я тебе скажу, что про тебя на рынке скажут, хочешь? Скажут: Штырь умом тронулся — бумажки собирает. А я думаю: когда все бегут из дома — а один заходит в дом, — он или сумасшедший, или знает, что пожара нет. Ты ведь знаешь, да? — Гарик прищурился. — Вот по глазам вижу: знаешь. Откуда — не спрашиваю, не моё дело, у каждого свой Бог. И через месяц я тебе хоть тысячу этих бумажек принесу. Только, дорогой... — он понизил голос и перешёл почти на шёпот, и в шёпоте печали было больше, чем тревоги, — ты тогда поторопись. Потому что ко мне вчера опять приходили. Те, на чёрной «бэхе». И спрашивали они, дорогой, не про меня. Про тебя они спрашивали. Кто таков, с каких пор поумнел, и кто за тобой стоит.

За ящиками с мандаринами было тепло и пахло Новым годом — праздником из другой, невозможной жизни.

— И что ты ответил? — спросил Артём.

— Правду, — Гарик развёл руками. — Что стоит за тобой, дорогой, я не знаю. Но я бы очень хотел, чтобы за тобой кто-то стоял. Потому что если ты такой — сам по себе... тогда совсем непонятно. А за непонятное, Лёша-джан, у нас стреляют.

ГЛАВА 7. ПЕРВАЯ СДЕЛКА



Через две недели в тайнике за подоконником вместо долларов лежали ваучеры.

Триста сорок штук. Гарик собирал их так, как умеют собирать только люди, знающие рынок: без объявлений, без табличек, через десятые руки. Торговец фруктами говорил знакомой продавщице косметики, та шепталась с обувщиком, и оранжевые бумажки стекались в подсобку с мандаринами по четыре двести, по четыре триста за штуку. Дороже, чем у проходной Завода имени Масленникова. Дешевле, чем они стоили на Московской бирже, о чём Артём узнал из «Коммерсанта» и о чём в Самаре, кажется, не знал больше никто.

Как это выглядит вживую, Артём увидел в первую же субботу.

Суббота на Кировском была главным днём недели, и подсобка Гарика с десяти утра работала как сельсовет в день выдачи зерна. Люди заходили по одному, между ящиками с мандаринами, и почти все начинали одинаково: с порога, не здороваясь, спрашивали «правда, что ли?» — и только потом доставали из-за пазухи завернутое.

Первой в ту субботу пришла Зоя с молочного ряда, крупная женщина с руками в цыпках, и принесла три ваучера: свой, мужнин и сына-срочника. Разворачивала она их из газеты долго, как разворачивают документы на квартиру, и на Артёма смотрела поверх свёртка тяжёлым, заранее оскорблённым взглядом.

— Только ты мне, Лёша, в глаза скажи, — потребовала она. — Вот прямо в глаза. Это не как у Королькова будет?

— Какого Королькова?

— Тю. — Зоя оглянулась на Гарика, как на свидетеля. — Юрка Корольков, с горпишеского торгового. Осенью ходил по рядам, собирал чеки «под совместное предприятие с финнами». Бумажки выдал, с печатью, красивые. СП «Самара-Хельсинки». Полрынка сдало. Где теперь Корольков? Говорят, в Сочах. Где Хельсинки эти? Вот и я говорю.

— Зоя, — сказал Артём. — Посмотрите на стол.

На столе, на расстеленной клеёнке, лежали деньги. Не бумажка с печатью, не расписка под проценты, а наличные, разложенные по стопкам, и рядом — школьная тетрадь в клетку и химический карандаш.

— Я у вас ничего не беру на хранение. Я покупаю. Вы мне чек, я вам деньги, сейчас, в руки, по четыре триста за штуку. У проходной ЗиМа дают четыре. После этого вы мне ничего не должны, я вам ничего не должен, и если я прогорю, это будут мои похороны, не ваши. Корольков продавал людям будущее. Я покупаю у людей бумагу. Чувствуете разницу?

Зоя думала, шевеля губами. Потом сказала «а, пропади оно» — и через минуту вышла с деньгами, а на клеёнке остались три оранжевых прямоугольника, и Артём, прежде чем убрать их в ящик, привычно поднял каждый к лампочке. Водяные знаки, рамка, серия. На третий день работы Гарик приволок откуда-то ультрафиолетовую лампу для проверки валюты, и Артём, включая её, всякий раз давил в себе усмешку: прибор был размером с утюг, гудел, как трансформаторная будка, и грелся так, что об него можно было сушить варежки.

К полудню тетрадь пополнилась на одиннадцать записей, а к двум часам случилось то, что должно было случиться.

В подсобку, отодвинув плечом занавеску, вошли двое. Молодые, в одинаковых турецких кожанках, и старший, с зубом из жёлтого металла, ещё от двери начал говорить тоном человека, принёсшего плохую новость не по своей воле:

— Гарик-джан, нехорошо. Мы у проходной стоим с января, картонку держим, мёрзнем. А ты у нас бумагу из-под носа уводишь. Люди к тебе идут, к нам не идут. Это как называется, по-твоему?

— Это называется конкуренция, — сказал Артём раньше, чем Гарик открыл рот.

Старший повернулся. Лёху Штыря он узнал, это было видно по тому, как у него дрогнул и ушёл вбок взгляд, но отступать при младшем было нельзя, и он упёрся:

— А с тобой, уважаемый, разговора нет. Ты цену ломаешь. Мы по четыре берём, ты по четыре триста. Завтра люди и с нас четыре триста спросят. Кто нам разницу вернёт?

— Никто, — согласился Артём. — Поэтому предлагаю по-другому. Сколько у вас сейчас на руках? Только не мне рассказывай, а себе: сколько чеков вы собрали и держите, потому что не знаете, куда сдать? Москва далеко, на бирже вас никто не ждёт, а бумага, между прочим, до конца года годна. Часики тикают.

Пауза вышла красноречивая. По лицу старшего было видно, как за жёлтым зубом происходит мучительная работа.

— Ну, есть... сколько-то.

— Я возьму всё. По четыре четыреста, оптом, деньги сразу. Сегодня возьму, и через неделю возьму, и через месяц. Стойте у своей проходной, держите картонку, берите по четыре. Я ваш сбыт, вы мой приход. И никто ни у кого ничего не уводит, потому что мы теперь, выходит, в одной лодке. Только вёсла у вас, а руль у меня.

Через сорок минут двое унесли деньги, а на клеёнке лежали ещё шестьдесят два ваучера, и Гарик, проводив гостей, долго смотрел на Артёма, накручивая ус.

— Слушай, дорогой, я двадцать лет торгую и такое вижу второй раз в жизни, — сказал он наконец. — Чтобы человек пришёл наезжать, а ушёл поставщиком. А первый раз знаешь когда было? Никогда. Я соврал для красоты.

Вечером Артём пересчитывал и нумеровал. Это была самая нудная часть: каждый чек — в тетрадь, под номером, с датой и ценой, второй экземпляр листа — под копирку, и копия пачкала пальцы, рвалась и съезжала, и на двадцатой записи он застонал в голос от тоски по обыкновенной таблице, которая сама считает сумму по столбцу. Здесь сумму считал он, в столбик, дважды, потому что один раз ошибся на тридцать тысяч и полчаса искал ошибку. «Два-

дцать первый век, — записал он на полях, — я прошу тебе всё: и соцсети, и спам, и самокатчиков. Верни мне только эксель».

Тело Лёхи относилось к происходящему с глухим неодобрением. Оно привыкло, что деньги выглядят как деньги: лежащая на дне кармана пачка, перетянутая резинкой. А тут она превращалась в стопку цветных фантиков, и где-то на дне Лёхиных рефлексов ворочалось смутное беспокойство.

Не понял Артёма и Граф.

В четверг Штырь привёз ему расклад по фирмам-прокладкам. Шесть тонких папок, на каждой фамилия, написанная химическим карандашом. Граф листал их долго, шевеля губами, и лицо у него постепенно делалось скучным и нехорошим. Дойдя до последней папки, он поднял глаза.

— Зацепин, значит. И Гога с «Авроры». И эти, банно-прачечные. Полгода. Полгода они нам пустышку давали, а мы кивали. Молодец, Штырь. С меня причитается. Только сначала объясни мне вот что.

Граф выдержал паузу. Паузы у него были рабочим инструментом, как у следователя.

— Мне Клещ доносит, что ты фантики скупаешь. Ваучера эти. Тихо скупаешь, через армяна. Клещ воет: Штырь бригаду позорит, деньги в макулатуру переводит. Я ему говорю: Штырь не дурак, переводит свои, бригадных ему никто не доверял. Но вопрос остаётся, Лёша. Зачем умному человеку макулатура?

Этого разговора Артём ждал девять дней и готовился к нему, как к экзамену. Он достал из внутреннего кармана сложенную газету и положил перед Графом, развернув на нужной странице.

— Читай здесь. Аукцион по «Волгарю». Механический завод, четыре тысячи работников, госпакет выставляют на чековый аукцион в апреле. Платить можно только ваучерами. Не деньгами, Граф. Ваучерами. Заводы продают за фантики, понимаешь? Целые заводы.

— И на кой тебе завод? — Граф смотрел без выражения. — Ты на нём что делать будешь, гайки точить?

— Ничего не буду. Сидеть буду. — Артём подался вперёд. — Завод никуда не денется. Земля под ним никуда не денется. Через пять лет за этот пакет будут давать настоящие деньги, и большие. А пока пусть стоит.

Граф молчал. За стеной кафе «Чайка» Люся гремела посудой и ругала кого-то ласковым голосом. Потом Граф взял газету, перечитал заметку, шевеля губами, сложил её вчетверо и спрятал во внутренний карман плаща. Жест был красноречивее любого ответа.

— Чудишь ты, Лёша, — сказал он наконец. — Ну, чуди. Я в эти фантики не верю, я старый. Но порядок будет такой: чудишь на свои и на деньги армяна, к бригадным деньгам не подходишь даже близко, ты в этой кухне пока никто. Нужны будут деньги на чудо — займу. Но с каждого чуда мне двадцать процентов. Не за деньги, — он усмехнулся, — за крышу. Чтобы Клещ не выл и чтобы всякие любопытные знали, что ты не сам по себе. Кстати, о любопытных.

Он встал, прошёл к двери, проверил, плотно ли закрыта, и вернулся.

— Чёрный «бумер» твой я пробил через ГАИ. Машина ростовская, в Самаре с января. Живут двое в «Октябрьской»⁴, документы дагестанские, но прописка у обоих московская. И ходят они, Лёша, не только к Гарику. Они на той неделе в горисполкоме были. У Грушевского.

Фамилию мэра Артём уже знал. Её в Самаре знали все, её произносили со специальной интонацией, в которой смешивались презрение и зависть. Георгий Степанович Грушевский сидел в кресле второй год и за этот год успел переписать на зятя половину городского имущества, до которого дотянулся.

— И что им у Грушевского? — спросил Артём.

⁴ Гостиница «Октябрьская» на Центральном автовокзале

— А вот это я бы сам хотел узнать. — Граф взял с тарелки пряник, повертел, положил обратно. — Когда московские деньги ходят к нашему мэру мимо нас, это не к дождю. Это к буре.

Аукцион по «Волгарю» состоялся пятнадцатого марта в актовом зале областного фонда имущества. Артём ожидал давки. Очереди, крика, драк. Вместо этого в зале со стульями, сдвинутыми как на профсоюзном собрании, скучали человек тридцать: представители двух чековых фондов, заводское начальство с одинаковыми портфелями, несколько кооператоров, старушка в платке, попавшая сюда, кажется, по ошибке. Госпакет в двадцать девять процентов разошёлся вяло, без борьбы. На долю Артёма, подавшего заявку через ТОО «Самшит» армянина Гарика, пришлось почти четыре процента завода.

Четыре процента завода. Триста сорок оранжевых бумажек.

Он вышел на мартовское солнце с гербовой выпиской в кармане и постоял на крыльце, привыкая. По Галактионовской громыхал трамвай, у которого были разбиты обе фары. Прямо на входе в Троицкий рынок мужики разливали на троих, прикрываясь от ветра. Страна не заметила, что её продают. Ей было некогда: она выживала.

«Запомни это чувство, — записал он вечером в тетради. — Не радость. Стыд пополам с азартом. Я не умнее их всех. Я просто подсмотрел ответы. Правило № 4: никогда не считать себя умнее. Считать себя должником».

А через три дня, восемнадцатого марта, Паша заехал за ним без звонка, и по его смятому лицу Артём понял, что началось.

— Гарика подрезали, — сказал Паша с порога. — Утром, у подсобки. Живой, в «Семашко»⁵, лёгкое задела. Лёх... он тебя зовёт. Тебя одного.

⁵ Городская больница № 2 имени Семашко

ГЛАВА 8. ПАША



В больницу Артём вошёл через приёмный покой, и запах ударил ему в нос раньше, чем он успел приготовиться.

Хлорка, лекарства, несвежее бельё. Запах был из другой жизни, из две тысячи двадцать второго года, из госпиталя в Ростове, где он лежал три дня с осколочным в плече и куда запах этот, оказывается, переехал прямиком из девяносто третьего, не изменившись ни на молекулу. Гарик лежал в четырёхместной палате у окна, жёлтый, осунувшийся, с трубкой в боку, и при виде Артёма его печальные усы шевельнулись.

— Пришёл, дорогой. Садись. Слушай меня, пока я храбрый, потом перестану. Это не грабёж был. Деньги не взяли, ваучеры не взяли, они в другом месте лежат, не скажу где, медсестра услышит, влюбится. Он спрашивал про тебя. Резал и спрашивал.

— Что спрашивал?

— Где бумаги держишь. Сколько собрал. На какой аукцион целишь. — Гарик прикрыл глаза. — Я ему сказал про «Волгарь». Прости, дорогой. Про «Волгарь» уже можно было, выиграла. Про остальное не сказал. Он торопился, народ подходил. Сказал: передай своему умнику, чтобы в Москву не лез. Самара ваша, сказал, кушайте. Москва не ваша.

— Какая Москва, Гарик? Я в Москву не лезу.

— Значит, полезешь, — Гарик открыл один глаз, и в нём, несмотря на трубку и желтизну, блеснуло прежнее. — Они лучше тебя знают, куда ты полезешь, вот что меня пугает, дорогой. И ещё одно. Рука у него. У того, кто резал. Я когда падал, за руку его схватил. На правой руке двух пальцев нет. Мизинца и безымянного.

Витя Беспалый. Артём вспомнил, как Пашка рассказывал про него вполголоса, оглядываясь: вольный стрелок, раньше ходил под Шамилём, после февральской стрелки ушёл.

Из больницы он вышел в сумерках. И уже на стоянке, у Пашиной «шестёрки», понял, что за ним идут.

Понял не он. Понял затылок: кожа на нём стянулась, по предплечьям прошли мурашки, дыхание само упало вниз, в живот, и ноги, не дожидаясь команды, развернули его боком к тёмному проёму между гаражами. Только потом Артём увидел то, на что среагировала кожа: тень, отделившуюся от стены, и вторую, заходившую справа, от мусорных баков.

— Стоять, умник, — сказала первая тень. — Разговор есть.

Дальнейшее заняло секунд сорок, и он запомнил эти сорок секунд кусками, словно киноплёнку порезали на монтаже. Вот блеснуло у правого уха: не нож, шире, монтировка. Вот корпус сам провернулся на полступни, пропуская железо мимо плеча, и правая пошла в ответ коротко, без замаха, от бедра, как бьют люди, которых учил не тренер, а улица. Вот первый согнулся, а второй оказался быстрее и опытнее, и от его удара в голове у Артёма лопнула белая лампа.

Он очнулся на снегу, точнее, на грязной мартовской каше, и над ним стоял Паша.

Паша держал за шиворот нападавшего, как держат мешок, и лицо у него было незнакомое. С этого лица слетело всё простодушие, вся медвежья мягкость, остался голый и страшный костяк. Поодаль, у выезда со стоянки, газанул и ушёл в темноту чёрный БМВ. Номеров Артём не разглядел.

— Живой? — спросил Паша, не оборачиваясь.

— Живой.

— Вот и он пока живой. Говори, гнида. Кто послал?

Пленный молчал правильно, профессионально: глядел в землю и ждал. Так молчат люди, которые знают, что хозяин страшнее любого Паши. Артём поднялся, переждал звон в голове и подошёл ближе. На вид парню было лет тридцать. Кожаная куртка, борцовские уши, на безымянном пальце след от кольца, которое он снял перед работой.

— Не скажет, — проговорил Артём. — Отпусти его.

— Чего?!

— Отпусти. Он наёмный, он ничего не знает, кроме телефона, по которому отзванивается. А телефон он не сдаст, потому что за телефон его закопают.

— Смотри сюда. — Артём повернулся к пленному и сказал медленно, чтобы дошло до того, кто будет слушать пересказ: — Передай заказчику. Я понял про Москву. Я туда не лезу. Но если ещё раз тронут моих, хоть Гарика, хоть кого, я найду не исполнителей. Я найду твоего хозяина.

Парень посмотрел на него снизу вверх, и в его пустых до этого глазах впервые мелькнуло что-то живое. Удивление, пожалуй. Он кивнул и через минуту растворился в темноте между гаражами.

— Зря ты так, — сказал Паша тяжело. — Их учить надо было. По-нашему.

— По-нашему они учёные. — Артём потрогал затылок, ладонь стала липкой. — Паш. Спасибо. Ты мне сейчас жизнь спас, ты понимаешь это?

— Да чего там, — Паша вдруг смутился, и страшный костяк ушёл с его лица, вернулось привычное, мягкое и доброе. — Ты мне тоже. В девяносто первом, на Металлурге⁶. Забыл, что ли?

Артём не забыл. Артём просто не знал, и сейчас, глядя на этого огромного парня, который краснел, как школьник, он почувствовал знакомый уже укол стыда: чужая дружба досталась ему вместе с телом, как мебель вместе с квартирой.

— Поехали, — сказал Артём. — Голову мне глянут, и поговорить надо. Серьёзно поговорить.

⁶ Криминальный район Самары

В травмпункте, пока молоденький врач, зевая, ставил ему скобки, Артём принял решение, которое зрело с самой встречи с Ритой в «Океане». В одиночку дальше было нельзя. Рита догадалась за один вечер. Граф ходил кругами. Теперь ещё и эти, московские. Ночью, на кухне на Ташкентской, под жёлтой лампочкой, он рассказал Паше почти всё.

Не про Бахмут. Не про перенос души. Версия была отшлифована за месяц до зеркального блеска: авария, кома на сутки, и после комы он, Лёха, помнит вещи, которых помнить не может. Видит вперёд. Не всё, кусками, как сквозь мутное стекло, но видит. Октябрь видит, и что в октябре в Москве будет страшное. Девяносто четвёртый видит, и что в декабре начнётся война, настоящая, с танками, и что брата Серёгу, если не вмешаться, заберут прямо туда.

Паша слушал, не перебивая, и его большое лицо медленно меняло выражения: недоверие, испуг, работа мысли, от которой у него двигались брови. Потом он долго молчал, глядя на клеёнку.

— Я знал, — сказал он наконец.

— Что?

— Ну, не это. Не так. Но я знал, что ты другой стал. С восьмого числа. Я ж не совсем дурак, Лёх, я просто молчу много. Ты мне одно скажи. Вот это, что ты видишь. Это от Бога или от чёрта?

Артём думал секунды три. Вопрос был лучше всех вопросов Графа и Риты, вместе взятых.

— Не знаю. Но я с этим собираюсь делать хорошее. Людей вытаскивать. Серёгу. Мать. Тебя, дурака. Если получится, не только вас.

— Тогда от Бога, — решил Паша с облегчением человека, закрывшего сложный вопрос навсегда. Он встал, открыл форточку, закурил и сказал в окно, в тёмный двор: — Беспалого я найду. Не дёргайся, не трону. Просто буду знать, где он. А ты это... ты пиши свои бумажки. Я постою рядом.

Так у Артёма Савельева появился первый доверенный человек.

ГЛАВА 9. РЕФЕРЕНДУМ



Двадцать пятого апреля страна голосовала на референдуме, а бригада гуляла у Люси в «Чайке».

Гуляла не по поводу референдума. Поводом было возвращение Гарика: армянина выписали накануне, похудевшего на десять килограммов, с запретом поднимать тяжёлое и пить, и оба запрета он нарушил в первые же полчаса, подняв тост за «дорогого Лёшу и его страшную голову». Но телевизор над стойкой работал, и к вечеру, когда пошли первые сводки, застолье само собой развернулось к экрану.

— Да навалят они Борьке⁷, — авторитетно говорил Циркуль, разламывая воблу. — Народ нищий, заводы стоят. Кто за него голосовать пойдёт? Бабки? Бабки против.

— Бабки как раз за, — возразил Жора, который всегда сначала поддакивал Циркюлю, а потом с ним спорил. — Бабки перемен бояться. Им чего главное? Чтоб не стреляли.

— Стрелять и так будут...

Артём сидел в углу, у окна, и молчал. Молчать во время таких разговоров он научился быстро. Слишком много знал, и знание распирало, просилось наружу, как воздух из надутого шарика. Он смотрел на экран, где немолодой диктор зачитывал бюллетень: четыре вопроса, доверие, одобрение, досрочные выборы президента, досрочные выборы депутатов. «Да. Да. Нет. Да», — вспомнил он. Слоган из учебника. Из ролика. Откуда-то.

— А ты чего отмалчиваешься, умник?

Клещ подошёл со спины, как всегда. Он был уже хорош: глаза блестели, маленькая голова на длинной шее ходила туда-сюда, выискивая, обо что бы зацепиться.

⁷ Борис Ельцин, первый президент России

— Ты ж у нас теперь по бумажкам. По прогнозам. Вот и спрогнозируй. Чего там завтра насчитают?

Стол притих. Люся за стойкой сделала телевизор тише, что само по себе было событием.

Артём отставил стакан с минералкой. Решение он принял за те две секунды, пока поворачивался. Знание, которое не работает, — мёртвое знание. А репутацию надо было поддерживать, и поддерживать публично.

— По первому вопросу «да», процентов под шестьдесят, — сказал он буднично. — По второму тоже «да», поменьше, в районе пятидесяти с хвостом. Третий и четвёртый можешь не считать, толку не будет: «да» наберут, а по закону не пройдёт, там надо от всех избирателей считать, не от пришедших. Короче, всё останется как есть. До осени.

— А осенью? — спросил кто-то из-за стола.

— А про осень тебе знать вредно. Аппетит испортишь.

Стол, кроме Клеща, загоготал. Клещ смотрел на Артёма, и в его блестящих глазах шла своя арифметика.

— Складно поёшь, — сказал он. — Давай так, прогнозист. Если завтра твои проценты сойдутся, я при всех скажу, что ты голова. А не сойдутся — ты при всех скажешь, кто ты есть. Фуфлогон. Идёт?

— Идёт, — сказал Артём. — Только подними ставку, а то скучно. Проиграешь — месяц собираешь с точек по моим тетрадам. С росписью за каждый рубль. Бумажная работа, как ты любишь.

Утром двадцать шестого Клещ не пришёл. Цифры по области сошлись почти в точку, по стране тоже, и к обеду об этом знал весь рынок, а к вечеру, кажется, полгорода. Люся пересказывала историю каждому второму посетителю, с каждым разом улучшая: в её версии Артём угадал проценты до десятых и предсказал погоду на майские.

Граф позвонил сам, что случалось редко.

— Слышал про твой цирк, — сказал он без предисловий. Голос был недовольный. — Ты вот что, Лёша. Ты эти концерты заканчивай. Угадал, молодец, повезло. Но запомни: ярмарочного медведя любят, пока он пляшет. Как только медведь начинает считать деньги хозяина, его пускают на воротник. Ты понял меня?

— Понял, Граф.

— Не понял. — В трубке помолчали. — Ко мне вчера человек подходил. Из горисполкома, из своры Грушевского. Интересовался: что за парень у тебя такой грамотный завёлся, не хочет ли парень на город поработать. Я сказал: нет у меня грамотных, у меня все дурные. Так что спрячь голову. До поры.

Артём положил трубку и долго стоял у окна. Во дворе на Ташкентской пацаны гоняли мяч между двумя кирпичами, у подъезда спорили старухи, всё было как всегда. Но он физически чувствовал, как по городу, от рынка к мэрии, от мэрии к гостинице «Октябрьская», где жили двое с московской пропиской, расходится рябь. Слишком много кругов на воде от одного камня.

Вечером он записал в тетради: «Правило № 5. Послезнание можно менять на деньги или на репутацию, но за репутацию платишь заметностью. Я заметен. Поздно прятаться, рано высываться. Нужна легальная вывеска, и нужен человек, который объяснит мне, как тут устроены деньги по закону. Гарик говорит, есть такой. Улица Куйбышева, 90, спросить Семёна Марковича».

ГЛАВА 10. ЧЕК НА ЗАВОД



Семён Маркович Лурье занимал две комнаты на втором этаже старого дворянского дома на Куйбышева, и на двери его конторы висела табличка «Финансово-консультационное бюро». Конторе было четыре месяца. Самому Лурье было шестьдесят восемь лет, сорок из которых он отработал в Госбанке СССР, и про эти сорок лет в городе говорили шёпотом и разное.

Артём шёл к нему оформлять депозитарное хранение акций. Остался на три часа.

— Молодой человек, — сказал Лурье через двадцать минут разговора, снимая очки. Очки у него были старые, с леской вместо дужки. — Я вас перебыю. Вы первый бандит в моей практике, который читает проспект эмиссии. Я сорок лет работал с людьми, которые не читали и приличнее вас одетых. Поэтому давайте экономить время друг друга. Что вы хотите на самом деле?

— Совет.

— Совет стоит денег.

— Я заплачу.

— Тогда второй вопрос. — Лурье сложил руки на животе. — Деньги, которыми вы заплатите. На них есть кровь?

Вопрос был задан тем же тоном, каким спрашивают про прописку. Артём выдержал взгляд старика.

— На тех, что я принёс вам, нет. За те, что были до меня, я отвечать не могу. Я их не зарабатывал.

— Интересный ответ. — Лурье надел очки. — Неправильный, но интересный. Запомните на будущее: за деньги, которые лежат в вашем кармане, отвечаете вы, и неважно, кто их

заработал. Это вам скажет любой следователь и любой раввин, а когда эти двое сходятся во мнении, спорить бесполезно. Ну-с. Показывайте вашу выписку.

Пока Артём излагал, старик считал. На столе у него стояли конторские счёты, чёрные, лоснящиеся, и Лурье щёлкал костяшками не глядя, со скоростью, за которой Артём не успевал в уме. Рядом, под чехлом, спал арифмометр «Феликс». Артём смотрел на это, и его накрывала странная тоска: дома такой расчёт делала таблица в телефоне, сама, пока ты наливал чай. Здесь полвека опыта заменяли процессор, и заменяли, надо признать, неплохо.

Выписку по «Волгарю» он изучал молча, потом достал из ящика стола сложенную газету «Волжская коммуна»⁸, развернул на третьей полосе и подвинул Артёму. Объявление было набрано мелко, между рекламой курсов кройки и продажей щенков: «Внеочередное собрание акционеров АООТ „Завод Волгарь“. Повестка: внесение изменений в устав, увеличение уставного капитала».

— Перевожу на русский, — сказал Лурье. — Директор Сазонтьев собирается напечатать новых акций втрое больше существующих и продать их по закрытой подписке. Кому, спросите вы? Себе, своему главбуху и товариществу «Факел», учреждённому, какое совпадение, его зятем. После чего ваши четыре процента превратятся в один, а контроль над заводом за бесценку уплывёт в карман к директору. Это сейчас делают все красные директора по всей стране. Называется красивым словом «размывание».

— Это законно?

— Это серая зона, молодой человек. В серой зоне выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто грамотнее оформляет документы и громче кричит. Кричать вы, я полагаю, умеете. Оформлять буду я.

Собрание акционеров проходило в заводском клубе с гипсовой лепниной и лозунгом «Слава труду», с которого осыпалась позолота. Сазонтьев, грузный, в хорошем костюме, вёл собрание сытым голосом человека, который заранее знает протокол. Рабочие-акционеры, человек двести, сидели тихо: им объяснили, что новые акции спасут завод, а кто против, тот против завода.

Артём поднялся, когда объявили прения. Он был в костюме, купленном три дня назад. Рядом, не вставая, сидел Лурье с портфелем на коленях.

— Вопрос к президиуму, — сказал Артём, и голос сам опустился на опору, в диафрагму, набрав той рыночной гулкости, при которой в зале стала слышна даже муха. — По какой цене размещаются акции закрытой подписки?

— По номиналу, — снисходительно ответил Сазонтьев. — Согласно уставу.

— По номиналу прошлого года. То есть в восемь раз дешевле сегодняшней оценки, по которой завод выставляли на чековый аукцион два месяца назад. — Артём не повышал голоса. — Второй вопрос. Список участников закрытой подписки утверждён правлением, в котором четыре человека из пяти лично участвуют в этой подписке. У меня всё, кроме заявления. Заявление сейчас зачитает мой представитель.

Лурье поднялся, открыл портфель и зачитал, со вкусом, с расстановкой, на хорошем канцелярите: жалоба в областной фонд имущества подана вчера, копия в прокуратуру области, копия в Госкомимущество, Москва, и до рассмотрения жалоб любое решение о допэмиссии будет оспорено в суде с арестом реестра. Слова «арест реестра» Сазонтьев, судя по лицу, услышал впервые в жизни, и они ему не понравились.

В зале зашумели. Из задних рядов поднялся пожилой рабочий и спросил, почему чужой парень в костюме знает про завод больше, чем им рассказывают на сменах. Собрание поплыло. Голосование перенесли.

⁸ Официальная газета Самарской области

В коридоре, у гардероба, Артёма догнал заводской юрист, молодой, потный, и, оглядываясь, сунул визитку: позвоните, есть разговор. А на улице, у крыльца клуба, ждал чёрный «Вольво». Стекло опустилось, и немолодой человек в сером пиджаке, не представившись, сказал:

— Георгий Степанович просил передать: ему нравятся энергичные люди. Он приглашает познакомиться. В пятницу, в три, мэрия, второй подъезд.

Стекло поднялось. «Вольво» уехал.

— Поздравляю, — сказал Лурье, наблюдавший сцену с крыльца. — Вас заметил город. Теперь слушайте бесплатный совет, он дороже платных. На встречу идите. Денег не предлагайте и не берите. И помните: Грушевский не бандит, он хуже. Бандит живёт по понятиям, а этот по обстоятельствам.

ГЛАВА 11. КРЫША НАОБОРОТ

До пятницы оставалось четыре дня, и Артём потратил их на дело, которое задумал ещё в библиотеке, а решился запустить только теперь.

Деньги на это дело собирались месяц, и своих в них была меньшая часть. Артём расписал источники в тетради, как расписывают баланс. Первое: премия от Графа за найденные прокладки. Граф вытряс из Зацепина и банно-прачечных всё, что они недоплатили за полгода, и слово «причитается» сдержал по-купечески, не торгуясь. Второе: пул. Гарик с двумя земляками и два тихих клиента Лурье, пожилые люди со сбережениями, сгорающими от инфляции, внесли деньги под управление, под расписку и под процент.

«Я не богач, — записал он в тетради. — Я управляющий. Это лучше: богача можно ограбить, управляющего надо беречь, иначе деньги превращаются обратно в бумагу. Правило № 6».

Самым трудным в пуле оказались не деньги. Самыми трудными оказались смотрины.

Двух «тихих клиентов» Лурье привёл к себе в контору в воскресенье, когда Куйбышева была пуста, и предупредил Артёма одной фразой: «Говорить будете мало, слушать много, и, ради бога, без этого вашего рыночного напора, эти люди от напора глохнут». Первый, Аркадий Самойлович, оказался маленьким старичком в югославском плаще, неприметным до такой степени, что взгляд соскальзывал с него, как с перил. Сорок лет он шил из неучтённого трикотажа неучтённые спортивные костюмы и о своих деньгах говорил «кое-какие крохи». Вторым, Никодимов, бывший снабженец, был, наоборот, крупный, шумный, с депутатским рукопожатием, и врал о себе непрерывно, легко и без цели, как дышал.

Допрос — а это был именно допрос — вёл Аркадий Самойлович, тихим голосом, глядя в стол.

— Молодой человек, Семён Маркович за вас поручился, а Семёну Марковичу я верю тридцать лет. Поэтому спрошу только три вещи. Первое: что будет с рублём к осени?

— Ничего хорошего. К декабрю доллар будет дороже тысячи. Поэтому касса не держит рубли дольше недели: пришли — ушли в чеки.

— Так. Второе: почему вам не взять просто доллары и не сидеть на них, как сидят все умные люди в этом городе?

— Потому что доллар сохраняет деньги, а не делает их. На долларах вы через пять лет останетесь при своих. На чеках — заработаете в десять раз больше.

— Так. — Старичок впервые поднял глаза, и глаза у него оказались не стариковские: быстрые, жёлтые, цепкие. — Третье, главное. Вас, молодой человек, по вашему роду занятий могут завтра зарезать. Не обижайтесь, это не пожелание, это статистика. Кто в этом случае вернёт мне мои крохи?

В комнате стало тихо. Никодимов перестал шуршать конфетной обёрткой. Лурье смотрел в окно с видом человека, который заранее знает все реплики этой пьесы, кроме следующей.

— Никто, — сказал Артём. — Врать не буду: зарежут — пропадут. Поэтому делаем так. Все акции, которые я куплю на чеки, за вычетом моей доли, ложатся к Семёну Марковичу на ответственное хранение с доверенностью на продажу. Зарежут меня — Семён Маркович продаст пакет и раздаст вам ваши деньги. Но без процентов. То есть смотрите, что получается, Аркадий Самойлович: пока я жив, я вам должен. А как помру — вы просто вернёте себе своё. Мне, выходит, помирать выгоднее, чем быть живым.

Аркадий Самойлович моргнул. Потом ещё раз. Потом издал короткий скрипучий звук, в котором Артём не сразу опознал смех.

— Сема, — сказал старичок, отсмеявшись. — Где ты взял этого мальчика? Сорок лет назад его бы взяли в Госплан... или расстреляли. Скорее всего, и то и другое. — Он вынул из внутреннего кармана плаща сберкнижку, посмотрел на неё с нежностью прощания и положил

на стол. — Четыре процента в месяц на мою долю, молодой человек. Двенадцать вы берёте с торговцев, треть ваша, значит, на круг вы можете четыре. Я считать тоже умею, я в этой стране дольше вашего живу.

— Три с половиной. Полпроцента — резерв на невозвраты. Будут все возвраты чистые — резерв ваш же, в конце года.

— Три и три четверти, и резерв пополам.

— По рукам.

Расписки писали под копирку, в трёх экземплярах, и Никодимов, подписывая, не удержался, наврал напоследок, что лично знал Косыгина. А в дверях Лурье придержал Артёма за рукав и сказал вполголоса, без обычной иронии:

— Поздравляю, теперь слушайте внимательно. Эти двое пережили ОБХСС, Андропова и кооперативное движение. Если вы потеряете их деньги, они не станут вас убивать, у них для этого слишком хорошие манеры. Они просто будут приходить и смотреть на вас. Поверьте старому человеку: вы предпочтёте, чтобы вас убивали.

С Гариком вышло проще и тяжелее одновременно. Проще, потому что Гарик согласился раньше, чем Артём договорил. Тяжелее, потому что наутро в подсобку пришла его жена Седа, женщина с глазами трагической актрисы, поставила перед Артёмом банку домашней аджики и сказала:

— Это тебе. А теперь слушай. У него лёгкое дырявое и трое детей. То, что он тебе отнёс, — это всё, что у нас есть, я знаю, он тебе скажет, что есть ещё, не верь, он врёт из гордости. Я не запрещаю, я уже поняла, что вам, мужчинам, запрещать — только подгонять. Я прошу. Ты теперь за него думаешь, Лёша. Думай хорошо.

И вышла, не дожидаясь ответа.

Вечером Артём дописал в тетради, под правилом номер шесть: «Деньги пула — это не деньги. Это сорок лет Самойловича, дырявое лёгкое Гарика и аджика Седы. Считать соответственно».

Он собрал в подсобке у Гарика семерых. Семь коммерсантов с Кировского: фрукты, обувь, китайский трикотаж, две точки аудиокассет, шаурма, запчасти. Все семеро платили бригаде, все семеро задыхались без оборотных денег, и все семеро смотрели на Лёху Штыря с одинаковым выражением: что ещё придумала крыша.

— Расклад такой, — сказал Артём без вступлений. — С завтрашнего дня вы платите не как раньше. Раньше вы платили за то, чтобы вас не трогали. Теперь будете платить за дело. Есть пул. Деньги в нём не только мои, и спрос за них не только с меня, поэтому слушайте условия внимательно. Каждому из вас даю в оборот. Под двенадцать процентов в месяц.

Кто-то присвистнул. Ставка была вдвое ниже той, под которую ссужали на рынке.

— В банке двадцать пять, и банк вам не даст, — продолжал Артём. — Ростовщики берут сорок и душу. Я беру двенадцать и одно условие: учёт. Тетрадь прихода-расхода, как я покажу. Раз в неделю мой человек смотрит тетрадь. Кто пишет честно, тому на третий месяц ставка одиннадцать, через полгода десять. Кто рисует, с тем прощаемся, и прощаюсь не я.

— А крыша? — осторожно спросил обувщик.

— Крыша входит в процент. Вы мои заёмщики. Кто тронет моего заёмщика, тронет мои деньги.

Молчание стояло долгое. Потом Гарик, сидевший в углу на ящике, сказал негромко:

— Я первый. Двадцать миллионов, на закупку к сезону.

К вечеру разобрали всё, что Артём выделил на запуск.

Бригада узнала через два дня, и в «Чайке» случился скандал. Кричал Клещ, и кричал, для разнообразия, дело:

— Он чего творит?! Он коммерсов приучает, что платить надо за пользу! Сегодня они у него деньги берут, завтра спросят: а за что мы остальное платим? Он же всю поляну переворачивает, Граф! Пацаны на сборах через год не нужны будут!

— Сядь, — сказал Граф.

Он сидел за своим столом без окон и смотрел на Артёма голубенькими глазками. Смотрел долго.

— А ведь он прав, — сказал Граф наконец, и Клещ торжествующе выпрямился. — Сядь, я сказал. Он прав, Лёша. Ты поляну переворачиваешь. Я только одного не пойму: ты её под себя переворачиваешь или под всех нас?

— Под время, — ответил Артём. — Граф, я тебе в феврале говорил: кто научится обращаться с бумагой, тот будет жить. Вот это, с тетрадами, и есть учёба. Через год у меня будет двадцатка точек с белым учётом. Это готовый банк, Граф. Не касса в трёхлитровой банке, а банк, с лицензией, с процентами, куда сам Грушевский деньги понесёт, потому что больше некуда. И в этом банке у тебя будет доля. Легальная. Такая, которую не отнимут ни менты, ни Москва.

— Опять бумага, — Граф покачал головой, но без злости. Он думал. Думал он всегда одинаково: брал со стола что-нибудь, сейчас спичечный коробок, и выравнивал его параллельно краю. — Банк. Слово-то какое... сытое. Ладно. Живи. Но запомните оба, — он перевёл взгляд с Артёма на Клеща и обратно, — поляна одна, а вас двое. Не порвите её. Мне в моём возрасте новую не сошьют.

Из «Чайки» Артём вышел в десятом часу. Вечер был тёплый, первый по-настоящему тёплый вечер года, с Волги тянуло водой, и по спуску к набережной шли парочки. Он шёл пешком и позволил себе полчаса не думать ни про пятницу, ни про мэрию. От «Звезды» он поймал старенькую «четвёрку» и на ней доехал до дома.

У самого дома, на лавочке возле подъезда, сидел дядя Костя.

Старик был не в телогрейке, а в пиджаке с орденскими планками, торжественный и трезвый, и от этой торжественности у Артёма похолодело внутри раньше, чем дядя Костя открыл рот.

— Ты, Лёша, садись, — сказал старик. — В ногах правды нет. Я тут до тебя по делу. Ко мне сегодня в сторожку человек приходил. Из прокуратуры, корочку показывал. Вязгин фамилия. Чаю попил, про жизнь поговорил. А спрашивал, аккуратно так, между делом, про тебя. Кто к тебе в гаражи ездит, чего возите, давно ли ты грамотный. Я ему рассказал, как положено: ничего не знаю, сторожу ворота. А только вот что, Лёша. — Дядя Костя повернулся, и в его выцветших глазах за железными очками стояла стариковская, всё повидавшая трезвость. — Он, когда уходил, у ворот с машиной поравнялся, с чёрной, иностранной. И в окошко ему оттуда папочку передали. Так что ты уж разберись, сынок, кто на кого у нас в городе работает. Пока они сами не разобрались с тобой.

ГЛАВА 12. ХОЗЯИН ГОРОДА



Кабинет у Грушевского был такой, что в нём хотелось снять обувь.

Ковёр во весь пол, мебель карельской берёзы, на стене портрет Ельцина, под портретом, на отдельном столике, макет набережной с корабликами. На приставной тумбе у стола выстроились в ряд четыре телефона: три с дисками и один без диска вовсе, с гербом на наборном поле. Артём усмехнулся про себя: в его времени вся эта батарея помещалась в кармане и весила сто восемьдесят граммов. Сам Георгий Степанович оказался моложе, чем Артём его представлял: лет пятьдесят, плотный, румяный, лысый, с быстрыми весёлыми глазами и рукопожатием в две ладони, каким здороваются массажисты и народные избранники.

— Алексей Николаевич! — Он произнёс имя-отчество с удовольствием, словно пробуя на вкус. — Наслышан, наслышан. Садитесь вот сюда, тут от окна не дует. Чай, кофе? Люся, два кофе нам... Это я свою Люсю так зову, секретаршу, — пояснил он, заметив что-то в лице Артёма, и засмеялся первым. — У вас, говорят, тоже Люся есть. Город маленький, Алексей Николаевич. Город — это вообще большая коммунальная кухня. Кто на это

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.